

Георгий  
Костин

Целенности  
бессердечного  
мира

18+

Георгий Костин

**Нелепости бессердечного мира**

«ЛитРес: Самиздат»

2013

**Костин Г.**

Нелепости бессердечного мира / Г. Костин — «ЛитРес: Самиздат», 2013

ISBN 978-5-532-04686-3

Это повесть – притча о русской интеллигенции. Другое её название «Выверт ума». Автор предлагает читателю погрузиться в развернутую метафору, чтобы рассмотреть героев повествования в фантастической реальности, пристально вглядываясь и в реальные причины этого трагического феномена. На каком этапе взросления, и по какой главной причине человек в буквальном смысле сходит с ума? Хотя такое сумасшествие и не носит клинический характер. Но социальные последствия его, как показала отечественная история – ужасающие. Хотя и рассуждают такие люди вполне логически, и по формальным признакам вполне здраво. Но у нормального (не испорченного «умственной кастрацией») человека от таких рассуждений – мороз по коже.

ISBN 978-5-532-04686-3

© Костин Г., 2013  
© ЛитРес: Самиздат, 2013

# Содержание

Предисловие	6
1	6
2	8
3	10
4	12
5	14
6	16
7	18
Глава первая	20
1	20
2	22
3	25
4	29
Глава вторая	32
1	32
2	34
3	37
4	39
Глава третья	42
1	42
2	44
3	47
4	49
Конец ознакомительного фрагмента.	50

*«...прыщавой курсистке длинноволосый урод  
говорил о мирах, половой истекая истомою.»*  
**Сергей Есенин**

## Предисловие

### Проход через солончаки (из детства в отрочество)

#### 1

Густая черная тень от разлапистого тамариска похожа на тушь, вылитую на белый лист ватмана. Между затененной и освещенной солнцем землей граница – отчетлива и неподвижна. Схоронившись от жгучих лучей, трое подростков-друзей сидят в тени под тамариском на корточках. Их загорелые до черноты голые спины упираются в сухие острые ветки. Но колени не умещаются в тени. Солнце жжет их. И отражаясь от нагретой кожи, как от стекляшек, слепит глаза, ежели кто посматривает на зудящие от жара колени, не прикрывая глаза ладонью. Но зато перестали нестерпимо болеть обожженные голые ступни. Погруженные до щиколоток в солевую пыль, они чуть поламывают, будто опущены в теплые грязевые ванночки.

От мохнатых цветущих лап тамариска истомно парит. Цветочный медовый запах, смешиваясь с затхлыми солончаковыми испарениями, густо дурманит головы. Юркий пот, набухающий каплями под прижатыми к бокам локтями, скользит по загорелым животам и высыхает, не докатываясь до трусов. А пот, капающий с вдавленных в бедра икр – образует на опущенной солью земле темные кляксы. Растворяя солевой налет, они, испаряясь, бледнеют и превращаются в тонкие прозрачные чешуйки спекшегося солевого раствора.

Друзья, идя сюда под открытым июльским солнцем, перегрелись. И теперь отдыхают в благодатной тени. Под тамариском тесно, но он тут единственный куст, под которым можно схорониться от жгучего солнца. Когда-то здесь стояло и толстое иссохшее урюковое дерево. Но его срубили. И торчащий из опущенной солью земли пень выглядит, как огромный сломанный зуб. Одну сторону пня густо опушила соль, другую залепили прочной белой глиной термиты. Они облепили глиной и валяющиеся тут вразброс колючие маклюровые сучья. Прежде, когда здесь были огороды, эти сучья вкопанными стояли на рукотворном земляном валу, охранявшим огородные урожаи от шакалов и дикобразов. Некоторые сучья до сих пор стоят на валу. Соль подчистую разъела их кору, солнце иссушило до цвета ископаемых костей. И теперь с торчащими ороговевшими жесткими колючками они похожи на костяшки облешего спинного плавника. А засоленный земляной вал – на огромного мертвого ископаемого змея с торчащими кое-где наружу белыми ребрами колючих маклюровых сучьев.

– Скоро двинемся дальше. – Сухим ртом отрывисто проговорил смуглый худой мальчик Сережа Ковин с тонкой, как у птенчика, шеей и стриженной наголо непокрытой головой.

Друзья молча с ним согласились, не желая разговаривать, дабы не отвлекаться от переживания сладкой неги. Разве что сидящий посередине Никитка Крутов, полный мальчик с мягким округлым телом, заворочался, будто птенец в тесном гнезде. Он вознамерился устроиться в тени поудобнее, дабы досыта поблаженствовать в оставшееся время отдыха. Но оттолкнул Вадика Петрова, ноги которого теперь полностью оказались на солнце.

Вадик забеспокоился и тоже напористо заворочался. Но наткнулся на настырное сопротивление Никитки, да больно уколол спину об острую ветку. Обиженно засопев, затих. Сладостное переживание неги из его души улетучилась. Отдыхать расхотелось, и он собрался предложить друзьям немедленно отправиться в путь дальше. Но, подумав, понял, Никитка скоро из тени не выйдет. Неприязненно поморщился от появившегося зуда обжигаемых солнцем бедер. И дабы отвлечься от него, с натугой пошевелил языком. Набрал во рту вязкую слюну, сплюнул её белым комочком себе под ноги. Плевком пробил аккуратную дырочку в слепящем глаза

рыхлом солевом налете и, коснувшись твердой земли, заворочался, словно почерневший вмиг червячок. Растворив в себе соль, на глазах быстро высох и замер, будто окуклился.

## 2

Забавляясь, чтобы не чувствовать жжения, Вадик прикрыл глаза, поглядел теперь себе под ноги и сквозь веки. Ярко освещенная белесая земля предстала его взору переливающейся, будто перламутр, краснотой. В центре её многозначительно зиял смачной чернильной кляксой след от плевка. Клякса, как давеча плевков, на глазах быстро бледнела, будто испарялась. Заинтриговавшись видением, Вадик надумал плюнуть еще раз. Но пока набирал в пересохшем рту вязкую слюну, назойливое жжение вновь оттянуло к себе его внимание. Нетерпимо горела уже не только кожа на бедрах, но и на покрытых цыпками ступнях. Поморщившись, он прикрыл ступни ладонями, дабы загородиться от настырного, похожего на чесоточный зуд, жара. Но скоро нетерпимо запылала кожа и на его руках.

Стиснув страдальчески зубы, поднял голову и отчаянно поглядел сквозь веки на солончаки. Краснота сделалась огромной, густой, и будто обратилась в озеро из красного шевелящегося киселя. Озеро выглядело пугающим и заволашевающим. Забыв о жжении, Вадик принялся старательно вглядываться в него, чтобы разглядеть детали. Но озеро под его взором перестало шевелиться, поблекло и обратилось в равномерную перламутровую красноту. Будто какой-то фантастический зверь, беспокойно поворочавшись, заснул снова.

Желая теперь увидеть наяву этого зверя, Вадик опрометчиво приподнял веки. И в первую долю секунду ему показалось, что увидел-таки его. Зверь был сер, огромен и добродушен. Но затем отражаемое солончаками солнце ослепило Вадика, будто выплеснуло из ведра в его раскрытые глаза пронзительно яркий свет. Наступила ночь, но не летняя, душная и тягостная, а прохладная – с тихой осенней свежестью. Тело расслабленно обмякло. Вадик умиротворенно закрыл глаза и беспричинно чему-то обрадовался. А когда открыл их, вновь был день, но не спящий, а – таинственно пасмурный, будто небо заволкли плотные тучи.

На душе сделалось сладко и по-осеннему чуточку грустно. Вадик смотрел на монотонно серое пространство солончаков и помнил, что на их месте только что было что-то таинственное живое. Но скоро у него заслезились глаза, и солончаки заворочались, как изображение в ненастроенном телевизоре. Вадик с натугой протер глаза и увидел поднимающиеся от солончаков призрачные струйки зноя. Касаясь друг о дружку, словно камышинки на ветру, они трением создали заволашевающую, одновременно пугающую и сладкую музыку. Музыка мягкими волнами лилась на него, нежно окатывая слух то таинственным мистическим шелестом, то истомно тонким звоном мошкар.

Глаза Вадика нездорово заблестели, и его обуяло нестерпимое желание залиться беспричинным колокольчиковым смехом. Сдерживая себя, заворочался и не заметил, что стриженная наголо голова его тоже оказалась на жгучем солнце. Так самозабвенно восхитился он вспыхнувшей музыкой. А она звучала все громче и громче. И когда заполонила собой все пространство солончаков, в ней образовались и какие-то новые, неопишимо сладостные звуки. Каковых прежде Вадик не слышал и не подозревал даже, что таковые, вообще, могут быть.

А когда эти неземные звуки заслонили собою все прежние звуки, Вадик увидел, как таинственно зашевелились и торчащие из засоленной земли изогнутые стволы росших когда-то здесь древесных солянок. Почудилось, будто они ожили и, очнувшись от глубокого забытья, ритмично закачались под сладкую музыку. И будто бы превратились в кобр, охраняющих это негодное для жизни место от непрошенных гостей. Но Вадика не испугало это превращение. Ему одновременно еще и явно почудилось, будто исчезнувший куда-то фантастический зверь не спит вовсе, а добрыми глазами смотрит на него. И этим взглядом приглашает в свой несказанно прекрасный мир, в котором, возможно, еще никто из живых людей и не бывал никогда...

Упоительное воодушевление бурно обуяло душу вконец перегревшегося на солнце Вадика. Чувствуя, что с минуты на минуту может произойти что-то несказанно значительное,

он решительно заворочался. Дабы, преисполнившись дерзким духом, безоговорочно заявить друзьям, что ежели они немедленно не пойдут к озерам, он отправится на озера один. Но, повернув к ним голову, увидел, что они оба стоят и подозрительно всматриваются в него сверху вниз.

– Похоже, он от жары снова сходит с ума. – Озабоченно проговорил Никитка, пытаясь острым, как солнечный луч, взглядом проникнуть вглубь блестящих глаз Вадика.

– Зря ты его вытолкнул на солнце. – С укоризной выговорил Никитке Сережа. – Сейчас он ежели и смеяться станет, как давеча, считай, снова все нам испортит.

«Я подремал было с закрытыми глазами и не заметил, как вы поднялись» – Собрался ухарски соврать Вадик. Но почувствовал, ежели заговорит, то не сдержится и рассмеется. Молча и легко, как воздушный шарик, оттолкнулся от земли, вскочил на пружинистые ноги. Помня, что теперь его могут выдать только глаза, спрятал их от Никитки, подобрав взгляд под себя. И не сделав паузы, решительно шагнул от тамариска к тропе, ведущей к озерам. Пронзительно, как укол, ясно ощутил вперившиеся ему в спину недоверчивые взгляды друзей. Переживать это было смешно и неприятно, как щекотку. Захотелось рассмеяться и дурашливо задергаться. Но изо всех сил сдержался... И друзья, не окликнув его, пошли за ним следом.

## 3

Чувствуя спиной взгляды друзей, Вадик пошел по тропинке, будто по рельсу, стараясь быть собранным. Пошел уверенно, как сомнамбула: не оступаясь и не покачиваясь. Его босые ступни гулко шлепали по раскаленной белой солевой пыли, разбрызгивая её, будто жидкую грязь, мелким веером. Ног своих он не чувствовал, как не чувствовал и жара, исходящего от солевой пыли, в каковой сейчас можно было запекать яйца. Шел так, будто между его ступнями и землей была воздушная подушка. Будто и не касался вовсе земли, идя по ней, как Иисус Христос ходил по воде.

Ему чудилось, что он, захотев, мог бы и полететь. Его шуплое, одетое в выгоревшие черные трусики тело, казалось, состояло из воздуха. Душа неудержимо радовалась, ликовала и рвалась в полет. И солончаки казались невообразимо прекрасными. Они даже напомнили недавний сон, в котором он, как ракета, носился по мирозданию. Вокруг была серая с редкими воронными сгустками космическая пустота. Но от неё исходила такая сочная материнская сердечность, что полет в ней наполнял душу невыносимым блаженством. Он, не найдя в себе силы пережить его, резко проснулся. И оцепенело лежал, слушая бьющееся сердце и пытаясь понять, что это за вселенская радость пыталась обуть его.

Вадик понял, ему вспомнился тот сон, потому что такую же сочную материнскую сердечность излучают сейчас солончаки. Понял и то, чего не мог уразуметь сразу после пробуждения. У снувшейся ему тогда космической пустоты и у солончаков – две разные стороны жизни. ПО ЭТУ сторону жизни солончаков пустота переходит в смерть, и жизнь кончается пустотой. А ПО ТУ сторону, наоборот, жизнь – начинается с пустоты. ПО ЭТУ сторону жизнь делает шаг в смерть, и это последний шаг жизни... А ПО ТУ сторону смерть делает шаг в жизнь, превращаясь в жизнь, и это первый шаг жизни... Тут же он понял и причину сводящей его с ума радости. Она обуюла его потому, что солончаки открыли ему ТУ свою сторону. И он увидел, что там смерть живет жизни и может оживить что угодно. Поэтому там все так бесподобно и неопишимо красиво...

И как бы подтверждая правоту его ослепительного озарения, на опушенной солью кочке, будто призрак, появился куст иссохшей верблюжьей колючки. Его иголки, будто изморозью, были покрыты кристалликами соли, сверкающими на солнце, как бриллианты – таинственно и многозначительно. А не тронутый солью чернильно-черный раздвоенный стебелек его со вскинутыми вразброс изящными тонкими веточками – был, словно выписан вдохновенным пером художника. И так же, как летучий рисунок мастера, куст этот сочно излучал исходящую из глубин своего таинственного существа неудержимую жизненную мощь. От которой, будто от хмеля, сладко и сытно закружилась голова.

А вот такую же пьянящую жизненную мощь излучают уже и выброшенные сюда, как на свалку, домашние предметы. Многозначительно и завораживающе красиво торчит острым углом из сверкающей солевой лужи ржавый велосипедный руль с лопнувшей пластмассовой ручкой. Он будто милиционерский жезл – направлен в сторону озер. И сам, как постовой милиционер – бесстрастен и собран. Но и – необъятно добр, что его доброты с лихвою хватит на всех людей. И он заинтересованно и доброжелательно может показать каждому живущему на земле человеку его жизненный путь в правильном направлении.

А какое бесподобно милое излучение исходит от дырявой эмалированной кастрюли, наполовину вросшей по давности лет в опушенный солью холмик! А торчащие из этого холмика обломки кирпичей напоминают любопытных зверьков, высунувшихся из норок. И чудится, что холмик этот – еще и общий дом, в котором, кроме забавных зверьков с мордочками, похожими на кирпичики, обитают и какие-то невидимые существа. Они – умные и добрые, как люди или ангелы. Не будь за спиной идущих следом друзей, Вадик подошел бы к

этому домику. Постучал бы костяшкой указательного пальца по кастрюле, будто по входной двери. Невидимые существа, обрадовавшись ему, впустили его к себе. И за невиданным сладким угощением он досыта пообщался бы с ними, понимающими его с полслова и любящими его больше чем кого-либо на свете.

Но удержался от этого опрометчивого действия. Зато неудержимо возжелал пообщаться с друзьями. Однако в мгновение понял, что они его не поймут. И во вспыхнувшем вмиг полемическом азарте вознамерился крикнуть им: «Да здесь на солончаках, вообще, нету смерти, и умереть здесь никому никак не возможно!» Но едва раскрыл рот, как из него вместо слов неудержимым бульканьем начал вырываться смех. Опомнившись, отчаянно замотал головой. И на счастье пронзительно почувствовал спиной, что друзья его, не имея больше мочи терпеть ступнями жар, бросились к крохотным кустикам остужать обожженные ноги.

Быстро обернувшись и убедившись, что не ошибся, решил, что и ему пришло время демонстрировать им, что тоже не может терпеть невыносимого жара солончаков. Как заправский артист, манерно приподнялся на цыпочки, потом пошел в раскорячку, морщась и отчаянно шумно отдуваясь. Но тут и в самом деле ощутил ступнями нестерпимый жар. И стремглав, как они, помчался к ближайшему сухому кустику верблюжьей колючки. Чтобы на крохотном пятачке его пятнистой тени остудить спекающиеся в раскаленной солевой пыли ступни.

## 4

На крохотном пяточке тени от просолившегося кустика перекасти-поле Никитка и Сережа остудили горевшие нетерпимо ступни. И пошли дальше, надеясь теперь дойти до озер без остановок. Пройдя мимо отдувающегося Вадика, испытывающе поглядели на него и, найдя его нормальным, пригласили взглядами последовать с ними. Но он ужимками и гримасами показал им, что ступни его нетерпимо пылают, и он их еще немного подержит в тени. Но, когда друзья удалились от него метров на десять, вышел на тропу тоже. И довольный, что, перехитрил их и избавился от докучливого контроля, пошел за ними.

Избежав надобности контролировать себя, он глубоко забылся, напрочь перестав себя чувствовать. Свободно отдавшись сладким переживаниям, растворился в них, что вроде и не органами чувств стал воспринимать уже открывающиеся ему виды. А – тем таинственным органом, который воспринимает сновидения и грезы. Реально видимые картины и спонтанно воображенные образы их – слились для Вадика воедино. Он явно бодрствовал, отчетливо видя все, что было по сторонам. Но видимое – выглядело удивительно таинственно и многозначительно, как может видеться только во сне.

Чем глубже удалялся Вадик в солончаки, и чем агрессивнее в действительности они становились, тем красивее выглядели они для него. Он не замечал уже, что, восхищаясь ими, видит их не вне себя, а – в самом себе. И не встречались больше у него на пути ни завораживающе красивые кустики, ни выброшенная домашняя утварь, которые перенаправили бы его внимание на себя. Все, что здесь и было когда-то, соль ядовитую слюной напрочь разъела, не оставив следов. И солончаки здесь выглядели однообразно и монотонно. На всем обозримом пространстве – одни невысыхающие солевые лужи, покрытые, будто льдом, гладкими солевыми корками, похожими на оплавленную грязную глазурь. Да – разделяющие их всякие возвышенности, густо опущенные солью, будто заваленные снегом. Лужи и в особенности возвышенности ослепительно, как электросварка, блестели на солнце, хаотично разбрасывая колючие, как стриженные конские волосы, нетерпимо жгучие лучи.

До опасного самозабвения дошли здесь и Никитка с Сережей. Избегая смотреть по сторонам, чтобы не слепить глаза, они, идя по тропе, глядели себе под ноги. Но колючие лучи ухитрялись слепить их, и глаза, слезясь, больно чесались. Будто лучи нарочно купались в соли, чтобы, вымазавшись в ней, отразиться и понести в глаза ядовито разъедающие их солевые крупинки. А когда резь в глазах делалась невыносимой, закрывали глаза ладонью, оставляя узкую щелочку между пальцами, чтобы только бы видеть тропу под ногами и нечаянно с нею не сбиться.

А она давно уже раздражающе занудно извивалась, обстоятельно огибая каждую попадающуюся в пути солевую лужу. В их душах зашевелился вкрадчивый соблазн пройти оставшийся путь к озерам напрямик. Но идти через лужи – опасно. Солевая корка не везде на лужах достаточно прочная. Но и там, где она удержала бы тяжесть их тел – торчит торосами. О них, как о битое бутылочное стекло, можно до крови уколотся, а то и до кости распороть босые ступни. Но чаще солевая корка – коварно хрупкая, как новорожденный утренний лед. А под ней – грязе-солевой бульон, нагревающийся к полудню сильнее, чем солевая пыль. Неосторожно провалившись в него, можно до волдырей обварить даже защищенные обувью, а уж тем более босые ноги.

Изнемогающим от пекла и слезящейся рези в глазах Сереже и Никитке уже и не верилось, что когда-то на этом адовом месте был пойменный оазис. Вперемежку с живучим тростником росли здесь кусты тамариска с длинными стеблями, густо, как хвоей, покрытыми зеленовато-голубыми листиками, состоящими из одних длинных прожилок. В огромном изобилии росли тут и солянки – невысокие кустарники с мелкими мясистыми листочками, торчащими

прямо из толстых колючих и извилистых, будто змеи, древесных стеблей. Никитке и Сереже не было ведомо по какой причине здесь к поверхности земли поднялась ядовито-соленая подпочвенная вода. Но они знали, что отравившаяся солью земля, будто сошедшая с ума мать, умирая, убила и всех своих чад – всякую обильно росшую здесь пойменную растительность.

## 5

Мука от пекла и ослепления сделалась для Сережи и Никитки нетерпимой. Исползволь, как червячок в яблоко, проник в их души и малодушный страх обгореть до смерти на солнце, не дойдя до вожделенных озер. Сдерживая себя от паники и не позволяя себе помчаться к озерной воде напролом, они закрывали слезящиеся глаза уже обоими ладонями и время от времени остервенело расчесывали веки. Никогда им не доводилось чувствовать такую лютую враждебность, каковую изучали солончаки.

И не отстающий от них Вадик тоже расчесывал нетерпимо зудящие глаза. И тоже изнемогал, но – от наваливающейся на него тяжелой усталости переживать не оставляющее его счастье. Он тоже боялся, что упадет, и у него не будет силы крикнуть друзьям о помощи. Солончаки уже не казались ему сердечными и доброжелательными хоть и остались в его понимании строгими, возможно, жестокими, но – справедливыми. В полу бредовых своих представлениях он соотносил их со сказочным кипящим молоком, купаясь в котором, Иван Царевич обратился в писаного красавца, а злой царь – сварился заживо. Вадик одержимо верил, что все они трое выйдут из солончаков обновившимися, как Иван Царевич. С натугой преодолевая изнуряющую усталость, он распухшим и едва шевелящимся языком уговаривал себя потерпеть самую малость.

В путающихся своих представлениях он уже видел первое озеро, граничащее непосредственно с солончаками. Но опасался поглядеть на него прямым взглядом, боясь ослепить глаза, а еще больше – боясь ошибиться. А он и друзья его действительно подходили к озеру. И оно выглядело таким, каким грезилось Вадиду: мелким, с темной неподвижной водой, напоминающей расплавленный свинец. А оттого, что на нем и его пологих берегах не было растительности, оно походило на огромную бритую голову, зарытого по шею в песок приговоренного к мучительной смерти мусульманина.

В действительности же озеро не было пустым. На середине его с вызывающе кричащей нелепостью лежал опрокинутый навзничь огромный железный столб высоковольтной линии электропередачи. Его возвышающийся из мертвенно-неподвижной воды железный остов – был покрыт окаменевшим от давности лет толстым солевым налетом. Но не белоснежным, каковым были опущены оставшиеся на солончаках не разъеденными солью предметы. А – какого-то странного матового цвета, напоминающего домашнее топленое молоко. Этот столб, как и земляной вал, с которого начинаются солончаки, похож был на скелет глубоко спящего до поры до времени таинственного чудища. Готового в любой миг проснуться и угрожающе вздыбиться во весь свой пугающий огромный рост.

Вадик не увидел в представлении этого столба, но зато отчетливо почувствовал исходящую от мертвого озера отчаянную навзрыдную грусть. И как будто в глубоком сне, увидел он и летающих сюда водоплавающих птиц, каковых в действительности здесь не было и в помине. Спонтанно представляемые им крупные утки: зеленоголовые красавцы селезнички – как тяжелые авиалайнеры садились на темную неподвижную воду с одного крутого залета. Грузно шлепнувшись упругой грудью о плотную соленую воду и подняв вялые толстые брызги, они солидно замирали. И скорбно прикрыв тонкой, будто восковой пленкой, степенные круглые глаза, показывая озеру, что разделяют с ним его скорбь. Следом показали озеру свою почтенную скорбь и севшие на соленый берег сизые голуби и черные галки. А усевшиеся около воды воробьи и вовсе, взъерошив перья, нахохлились, будто здесь для них была поздняя тоскливая осень. Хотя с выгоревшего белесого неба маленькое июльское солнце, похожее на свинячий глаз, свирепо поджаривало озеро, будто оно было сковородой. Чутьочку суетливо повели себя сначала лишь маленькие водоплавающие кулички. Юркой стайкой, прилетев сюда невесть откуда, они носились крутыми зигзагами над мертвой водой и засолившимися бере-

гами и долго протяжно и жалобно кричали, будто плакали. Но, выплакавшись, плюхнулись на плотную воду и, покачавшись, тоже замерли в степенной скорби, слившись крохотными серыми тельцами с молчаливо печальной водой.

## 6

В полу бредовой своей глубокой грезе Вадик увидел и действительно живущих на мертвом озере птиц. Ими были чибисы: обособленной стайкой они по-хозяйски стояли на тонких розовых ногах в мелкой озерной воде. У них на коротких шеях были взъерошенные черные перья, похожие на жабо. Выпяченные грудки их были светло-коричневые в желтую крапинку, крылья – смолянисто черные, на кончиках – белоснежные разводы. Клювики – розовые, глаза – кроваво-красные. Чибисы эти на озере – вроде профессиональных плакальщиков. Когда сюда приходили люди, они все взлетали, и, печально кружась, протяжно выкрикивали одно и то же, похожее на магическое заклинание, тоскливое птичье слово:

– Тидильник! Тидильник! Тидильник! Тидильник! Тидильник!

Вот и теперь, заметив ребят, подходящих к озеру, чибисы взмыли в выгоревшее небо и с протяжной надсадой тоскливо заголосили:

– Тидильник! Тидильник! Тидильник! Тидильник! Тидильник!

Услышав чибисов, Сережа с Никиткой приостановились. И, повернув на крик головы, подняли прикрытые ладонями лица вверх. С трудом приоткрывая пальцами смыкающиеся веки, увидели воочию тревожно кружащихся над озером в ослепляющем белом небе птиц, напоминающих прозрачных ангелов. И стали, радуясь, вглядываться в них. Вадик же не увидел, что Никитка с Сережей остановились и чуть не наткнулся на них. Недоуменно приостановился, зашевелил опухшим языком, чтобы спросить, почему они встали. Но ничего не выговорил. Зато, напрягаясь, пришел в себя и тоже услышал крики чибисов. Как спросонья растер слезящиеся глаза ладонями и сквозь слезы тоже стал наблюдать за тоскливо кричащими птицами.

Заворожено смотря на чибисов и слушая их крики, ребята, исподволь осознавали, что они дошли-таки до озера. И к ним вместе с радостью возвращалось исчезнувшее было при переходе через солончаки ощущение глубокого духовного единения друг с другом. Вадик от этого реанимировавшегося чувства даже расхотелось смеяться и усталость отпустила его. Воодушевившись, он собрался даже подтрунить над собою, признавшись ребятам, что едва не сошел с ума на солончаках. Но распухший его язык вновь не повиновался ему.

И Сережа с Никиткой почувствовали, что от набухшего в них ощущения единства они стали единым целым, превратившись хоть в маленькую, но – стайку-семью, подобную семье птенцов. Которые уверены в себе, только когда едины и когда ощущают незримое присутствие матери. И тут в душах ребят возникло, наконец, и то, кажущееся им сказочным бесподобное ощущение, ради которого они и ходят время от времени на озера через солончаки. Им стало чудиться, будто их, как несмышленных детей, словно отец или мать, держа за руку каждого, ведет на озера. Тот, кто все знает и умеет. И так бесподобно уютно сделалось им от обуявшей их тут незримой заботы. Будто распушившая перья клуша села на них, как на своих только что вылупивших цыплят.

И потому наслушались птиц и исподволь доверчиво сполна отдавшись заботящейся о них воле, ребята, будто заранее сговорившись, пошли к третьему озеру напрямик. Сойдя с вытопанной тропы, они наискосок направились к мертвому озеру, ступая теперь вслепую по жесткой солевой корке его долгого берега. И терпеливо мученически морщились, укальываясь босыми ступнями об острые, как колючки, кристаллические наросты. Слепящий пуще прежнего солнечный свет и теперь не позволял им отрывать ладони от слезящихся глаз.

И чем ближе подходили они к мертвому озеру, тем ниже спускались кружиться над ними тоскливо кричащие чибисы. Пронзительно печальные голоса их звучали теперь, будто были усилены громкоговорителями. У самого озера ребята вошли в полосу приторно пахнущих испарений, от которых, как от винных паров, у них закружились головы. И чибисы опустились так низко, что стали чуть ли не бить их крыльями. Тяжелый озерный воздух от свистящих

их взмахов пришел в движение и разок другой прокатился мимолетной прохладой по потным спинам. Но это не принесло облегчения: истошные выкрики чибисов оглушили уже ребят.

Ошеломленным криками и хмельным от озерных запахов им стало чудиться, будто это и не чибисы кричат вовсе, а – умершая и воскресшая на солончаках жизнь истошным криком пытается пропихнуть в их оглохшие уши единственное свое слово. Но в нем – будто бы сконцентрировано все великое знание вселенной и предупреждение о великой опасности этого знания. И даже стало чудиться, будто это знание вместе с предупреждением проникло уже в их души, упав там, словно пшеничное зернышко в благодатную почву. И осталось теперь только подождать, когда оно само прорастет естественным образом. Но чибисы, не ведая этого, все продолжали и продолжали протяжными криками отчаянно оглушать их:

– Тидильник! Тидильник! Тидильник! Тидильник! Тидильник!

И лишь когда ребята наискосок стали удаляться от мертвого озера, крики чибисов притихли и обрели прощальный, несколько торжественный, хотя все такой же протяжно-госкли-вый эмоциональный оттенок:

– Тидильник! Тидильник! Тидильник! Тидильник! Тидильник!

## 7

В глубоком потрясении ребята, будто сомнамбулы не помня себя, гуськом приблизились ко второму озеру. Не останавливаясь, пошли через него в вброд, волнуя и разбрызгивая мелкую болотистую воду не заметившими прохлады ногами. Гуськом обогнули они плотную зеленую стену из сочного разлапистого тростника, стоящую в середине озера. И выйдя на просторный плес, пошли прямо, подгибая ногами редкие худосочные камышинки и укальываясь о торчащие обломки стеблей тамариска. Не смогли заметить они сейчас ни проплывшего рядом двухметрового смолянисто черного полоза, охотящегося за лягушками. Ни даже – отдыхающей на поваленном сухом тростнике насторожившейся от их появления толстой головастой гюрзы.

Да и утомившиеся от долгого крика озерные чибисы давно сели на голый берег и, нахвалившись, замерли в рабочей для них нескончаемой скорби. Но их протяжные крики продолжали оглушающе звенеть в ушах, идущих по болотистой воде мальчиков. И мальчики воспринимали застрявшие в ушах крики как нечто значительное и драгоценное. Чувствовали, что ЭТИМ всклянь сейчас полны их трепетные души. И они несли свои души, будто полные чаши, третьему, главному озеру, не желая ни капли не расплескаться в оставшемся близком пути...

Услышав сладкую музыку мерно журчащего водопадика, которым вода с первого озера спадает во второе, они невольно внутренне подобрались, будто перед долго ожидаемой вожаденной встречей. Осторожно и стараясь избегать резких движений, поднялись по крутому пойменному бугру, цепляясь руками за одревеневшие стебли верблюжьей колючки. Взойдя к третьему озеру, обошли его по тесному бережку, едва не касаясь боком высокого чакана с торчащими, как частокол тугими, напоминающими гранаты, коричневыми шишками. А другой бок царапая об облепившую крутой склон пойменного берега сочную верблюжью колючку, усыпанную красными, похожими на капельки крови, цветочками на длинных зеленых иголках.

Дойдя по бережку до конца расщелины между обрывистыми буграми, они увидели карликовую пустынную грязновато-рыжую лисицу. Она, припав на передние лапы, жадно пила воду из питающего озеро родника. Завидев ребят, лисица не помчалась стремглав вверх по обрыву на пустынный пойменный бугор, а нехотя степенно отошла по озерной береговой кромке за чакан. Ребята не стали устрашать её: улюлюкать и махать руками. Чего не преминули бы сделать в другом случае. Сейчас у них и желания не возникло поозорничать. И даже коли лисица не освободила место у родника, они её не прогнали бы, а расположились с нею у родника. И как звери, пришедшие на водопой, принялись бы по очереди опускать в бурлящую холодную воду пылающие от жары лица. А пересохшими на солончаках губами жадно втягивать её в рот и глотать, глотать, глотать, не умея утолить обуявшую их вдруг неистовую жажду...

Подойдя с гулко бьющимися сердцами к исторгающему водные клубы из земных недр роднику, ребята кругом опустились перед ним на коленях. И как богомольцы в охватившем их религиозном исступлении, принялись пить, неловко стучаясь друг с другом стриженными головами. Желание разговаривать у них напрочь пропало, будто растворились или уменьшились до незримой точки их разговоротворящие механизмы. А место их заняли другие – более совершенные, благодаря которым ребята сейчас столь глубоко ощущали друг друга, что подумай кто-нибудь о чем-либо, его мысль тотчас стала бы известной и понятной другим. Так же глубоко, как друг друга, они чувствовали сейчас и воду, и озеро, и пойменные бугры и даже лисицу, что вальяжно отошла за чакан. А земля, небо, вода и все, что было вокруг, в ответ глубоко чувствовали их. И даже лисица не убежала, а величественно отошла, потому как издали учуяла в них родственное состояние души. И это их состояние не было реликтовым: оно не опустилось до звериного, а, наоборот – поднялось выше обыденного человеческого. Оно если и вернулось к звериному, то как бы по спирали: на один её виток выше.

Напившись и отяжелев, как бегемоты, ребята обленились настолько, что не стали вставать с колен. А обдирая их о жесткую, как бетон, береговую землю, пятясь, отползли в озеро. Погрузились в неё, оставив над упоительной влагой только сверкающие на солнце стриженные макушки, дремотные хмельные глаза, да распахнутые и фыркающие от несказанного блаженства ноздри. От переживания глубинного удовлетворения тела их сладко оцепенели, и как будто растворились в воде. Ребятам уже чудилось, будто состоят они теперь из одной непоколебимой уверенности, что ведают о мире все, что можно о нем ведать. И что это их ведание останется теперь с ними на всю жизнь. И при равных условиях с другими людьми будет давать им всякий раз безоговорочное преимущество. И все это потому, что их жизни, наконец, стали предельно полными и самодостаточными. И таковыми останутся навсегда.

Ничего большего желать от жизни им не хотелось. Но осталось у них великое желание жить. И потому супротив охватывающей дремы они с живым интересом наблюдали сейчас сквозь щелочки смыкающихся век за вышедшей из-за чакана дикой лисицей. Которая сначала тоже остолбенело смотрела на них с любопытством, граничащим с изумлением. Но затем осмелела, доверилась им, подошла на подогнутых ногах к роднику и стала пить, мягко опуская в бурлящую воду острую бледно-желтую мордочку...

## Глава первая

### Явление красоты и музыка вечности

#### 1

Солнце, достигнув апогея, остановилось и замерло в зените, сжавшись в дрожашую точку, невероятно жгучую и яркую. Похожий на изморозь мелко-пушистый солевой налет на торчащих из темной воды полуистлевших черных травяных былинках засверкал мириадами раскрошившихся зеркальных осколков. Опушенная солью хрупкая солончаковая глазурь на узкой береговой кромке ослепительно заискрилась, будто хрустящий молодой снег погожим морозным утром. От пронзительно острой рези в глазах веки Сергея Ковина судорожно сомкнулись. Выкатившаяся на ресницы крупная слеза ликующе засверкала, преломляя белый, как у струящейся расплавленной стали, текучий солнечный свет на разноцветные яркие: голубые, зеленые и огненные желто-красные – всполохи.

Игра радужных всполохов, напомнивших заораживающее представление искристых стеклянных камешков, таинственно перекатывающихся в детском трубочатом калейдоскопе, напомнила душу Сергея праздничной благостью. Томительно наполнила далекое сладкое чувство полного духовного единения и взаимосогласия с окружающим миром, каковое он глубоко и остро переживал в раннем солнечном детстве. Так же, как в детстве, от этого переживания по его обмякшему, будто распарившемуся в парной бане, хлипкому телу сочно потекла хмельная сладость. Не сумев пережить возвратившееся детское блаженство молча, Сергей залиvisto засмеялся, не открывая сомкнутых глаз. Дабы ненароком не спугнуть вольно резвящихся на его ресницах прытких цветных бликов, похожих на райских птичек. Смеющийся голос его был подобен райскому звуку: звучал чисто и звонко, словно говорливо-журчащий водный перепад горного ручейка с бесподобно прозрачной и ломозубо-прохладной вкусной водицей...

Но когда залиvistый смех, усиливаясь, стал перерастать в гулкий кашляющий хохот, Сережа встрепенулся в себе. И вспомнил о друзьях, лежащих рядом в теплой, приторно пахнущей сероводородом, воде крохотного озера, похожего на лужу. Опасливо подумал, что его смех может показаться им неуместным. Ему ярко вспомнилось, как неуместно хохотал Вадик, выглядя сумасшедшим, когда они сегодня шли сюда под жгучим солнцем через разогретые до адского пекла белесые солончаки. Насторожила его и приторная телесная сладость, которой он неосмотрительно доверился и упоительно засмеялся, будто от ласковой щекотки. Ему сразу же захотелось избавиться от этой сладости, как от пренеприятного винного опьянения. Но едва собрался подавить в себе желание смеяться, как в желудке образовалась муторная дурнота. А в обмякшем до безобразного неприличия теле зашевелились позывы к тому, чтобы, не шевелясь и не открывая глаз, справить под себя тут, в мутной луже, большую и малую нужду.

Однако позорно уподобляться упившемуся до потери сознания горемычному пьянице Сережа позволить себе не мог. Резким волевым усилием заставил себя пошевелиться, дабы разрушить отвратительную и пугающую уже его неприлично сладкую телесную расслабленность. Медленно заворачивая тяжелой, будто чугунная болванка, головой, сдавил зубами нижнюю губу до тупой, донесшейся из запредельного далёка, боли. Разомкнул тяжеленные веки, повернул глаза, ослепленные ярким, как электросварка, светом, вправо, где в сероводородной воде должны были лежать его закадычные друзья: Вадик и Никитка. Но на их месте увидел лишь пустую темно-серую, будто выгоревшая на солнце льняная скатерть, гладкую поверхность мелкой лужи. Но не удивился, а тяжелым бесчувственным языком глубокомысленно произнес вслух: «Видать, им солнце напекло головы раньше, чем мне. И чтобы не опозориться, сходяв

под себя прямо тут, в луже, они пошли испражняться за камыши, дабы ветер не доносил потом вонь до лужи...». Целенаправленно напряг руки, чтобы, упершись растопыренными ладонями в рыхлое илистое дно лужи, подняться и тоже сходить за камыши по подступившей нужде. И вдруг услышал донесшийся до него откуда-то сверху странный, хоть и довольно знакомый голос:

– Ну, что же ты медлишь, Сережа. Поднимайся и иди следом. Нагоняй Никитку и Вадика.

Превозмогая оставшуюся в теле предательскую расслабленность, Сережа поднял глаза, слезящиеся от ярких белых бликов, в сторону окликнувшего его голоса. И увидел у края камышовой стены, плотно втиснувшейся в проход между вторым озерцом и дряхлым пойменным береговым обрывом, троюродную сестренку Никиты – Леру. Узнал её сразу, несмотря на то, что выглядела она вовсе не хрупкой десятилетней девочкой в обычной короткой юбчонке и с замазанными зеленкой сбитыми коленками, каковой вроде бы и должна была сейчас быть. А была она почему-то взрослой, почти что восемнадцатилетней девушкой. Правда, вытянувшись чуть ли не на два с половиной метра в длину, осталась тонкой и стройной, каковой была. Из-за этой нелепой непропорциональности выглядела беззащитно хрупко, будто поставленная вертикально тонкая корочка матово-прозрачной солончаковой глазури с темной полуистлевшей травяной былинкой внутри.

Но гораздо больше удивило Сергея её необычное воздушно-матовое одеяние, которое пульсировало завораживающим золотистым свечением. Когда же он попытался обстоятельно разглядеть искрящуюся Лерину одежду, вольно стекающую с худых, чуть ли не костлявых плеч, то его мокрые от слез ресницы и вовсе предательски засверкали блистательными алмазиками, напрочь ослепив ему глаза. Сережа тотчас непроизвольно закрыл их. Тяжело заворочал головой, перетерпывая острую, вызывавшую обильное слезотечение, резь. Когда же открыл глаза снова, то увидел, что Лерино одеяние плотно заслоняли собой, будто световым театральным занавесом, густо струящиеся ввысь от горячей голой земли матовые струйки зноя. Заколебавшийся от них плотный воздух сделал видение Леры размыто-призрачным, будто оно нарочито уклонялось от внимательного разглядывания.

Зато удалось отчетливо разглядеть её непропорционально тонкую и длинную шею, склоненную с поэтической манерностью слегка набок. И похожую на нарисованную нежными красками шею рождающейся из морской пены Боттичеллиевской мадонны. Поэтическое сходство Леры с божественной мадонной подчеркивали и пышные каштановые волосы, свисающие за узкой спиной. Однако определить, достают ли они пояса, Сережа не смог, потому что, опустив глаза вниз, вновь наткнулся взглядом на её призрачно светящуюся одежду. Его взгляд, как бы поскользнувшись на ней, словно на льду, кикнул, и неловко отбросившись в сторону, уперся в бардовый сосок на обнаженной чуть выпуклой, как у девочки, розовой левой груди. Поэтическое сходство Леры с Боттичеллиевской мадонной мгновенно нарушилось, потому как демонстративно выставленный ею наружу голый сосок не выглядел непорочным, как у Венеры. А наоборот – был похотливо сжавшимся: тугим и сморщенным. Таким же похотливым выглядело и темное пигментное пятно вокруг соска. От острого плотского возбуждения на нем выступили даже выпуклые, как пшеничные зерна, темные мурашки...

## 2

Неприятно потряс головой, Сережа резко закрыл глаза, дабы оторвать взгляд от омерзительной похоти. Отчаянно сосредоточившись, загасил вспыхнувшее вмиг в его душе заразное возбуждение. А когда вернул своевольно возгоревшуюся душевную страсть в лоно приятного поэтического возбуждения, решил целенаправленно разглядеть красивые Лерины волосы. Открыл глаза, но его пытливый взгляд пристально уперся теперь в длинный и узкий тростниковый лист, выглядевший раза в три больше естественного размера. Ярко освещенный белым солнечным светом, он был необычайно красивым. Казался не настоящим и не живым, а – выписанным на холсте вдохновенным художником сочными и яркими красками. Благо-родно таинственная темная где-то даже тяжелокаменная малахитовая зелень тыльной стороны его медленно, мазок за мазком, изысканно переходила в блестящую, разбавленную золотом, богатую светлую божественно воздушную зелень стороны наружной. Чудилось, будто каждый искрящийся на солнце мазок, каждый радостный блик, каждое скромное крохотное цветочное пятнышко – прижимаясь тесно друг к дружке, составляют не только прекрасную общеединую поэтическую жизнь тростникового листа, но и все по отдельности живут собственными само-углубленными богатыми внутренними жизнями...

Сережа принялся подробно разглядывать отдельные, похожие на слегка выпуклые перламутровые рыбы чешуйки, добротнo подогнанные один к другому, отчетливые мазки, из которых с изысканным мастерством и любовью был слеплен тростниковый лист. Проследовал восхищенным взглядом до кончика листа и уперся теперь взглядом в береговую землю. Тоже будто бы не настоящую, блеклую и безнадежно скучно-серую, а – выписанную густым неразбавленным маслом размашистыми щедрыми мазками. Похожими уже на рыбы чешуйки с загнутыми искристыми краями, небрежно разлетевшееся в стороны после чистки рыбы. Такими же изогнутыми мазками, но только легкими как перышки, и похожими на крошечные сказочные ладьи со вздернутыми манерно носиками были выписаны и струйки зноя, поднимавшиеся над ссохшейся на солнце и растрескавшейся землею. Каждый изогнутый мазок, образуя совместную, радующую глаз, зыбкую призрачную рябь, был сам по себе щегольски нарядным. И являл в своем кавалерском наряде всевозможную цветовую гамму. От темно-коричневых, почти антрацитнo-черных блесков, которыми были выписаны затененные глубокие трещины ссохшейся земли. До чисто белых и даже ангельски белых – на краях лихих завитков, которыми были выписаны призрачные полупрозрачные знойные струйки.

Но не успел Сережа налюбоваться открывшимся его глазам живописным великолепием, как вдруг его умилившись от созерцания живописной благодати взгляд наткнулся на огромные босые женские ступни. Которые так же, как тростниковый лист, были раза в три больше своего естественного размера, что даже полностью не уместились в глазах. Сережа тотчас определил, что перед ним ступни Леры, похожей сейчас на рождающуюся из морской пены Боттичеллиевскую мадонну. Такое отчетливое и щедрое божественно-чистое поэтическое излучение могло исходить только от Боттичеллиевской мадонны. Да и выглядели ступни необычно ни столько не из-за своего чрезвычайно огромного размера, а – сколько оттого, что тоже, как тростниковый лист и береговая земля, казалось, были сотворены художественным человеческим гением. Правда, выписаны они были в отличие от тростникового листа, земли и знойных струек не нарочитыми ярко выраженными грубоватыми мазками, а – реалистично правдоподобно. Что даже крошечные светло-коричневые волоски, расположенные вразброс над выпуклой аккуратной лодыжкой, выглядели не нарисованными, а приклеенными к живописному изображению. Только по неправильной тени от них можно было определить, что они таки нарисованы. Но – с таким мастерством и изяществом, что только при рассмотрении через увеличительное

стекло и можно было заметить, что каждый волосок – это единый законченный мазок, нанесенный самой тонкой кисточкой, какая только может быть в художественной мастерской.

С филигранным мастерством и вдохновенной любовью была выписана и нежная кожа на округлых и кажущихся стыдливими хрупких Лериных ступнях. Кожа смотрелась нарочито однотонно-розовой, разве что только на покатых изгибах едва заметно переходила в богатые полутона. При этом с поразительным мастерством и изяществом была скрупулезно и обстоятельно выписана всякая её крошечная клеточка. С видимым углублением посередине и наливными чуть поблескивающими на солнце выпуклостями по пологим краям. Каждая клеточка была бережно и тщательно отделена одна от другой затененной тонкой, как паутинка, аккуратной границей. Поэтому кожа и не выглядела грубовато, как такырная земля, растрескавшаяся на отдельные дольки с загнутыми острыми гранями. Нет, причудливая, чуть видимая сетка темных и необычайно тонких линий, изысканно и бережно разделяющих розовые клетки, напоминала разве что микроскопические трещинки на холсте стародавней картины. И этот мастерски исполненный эффект придавал изображению пушую поэтическую значимость и ценность. Тем более что сами ступни не выглядели нарисованными на холсте. А – казалось, были вылепленными из гипса Мастером в качестве образца скульптурной детали, дабы разглядывающие её ученики постигали первостепенные азы наисложнейшего мастерства ваятеля. А для пушей достоверности и реалистичности эта деталь была любовно раскрашена им масляными красками, словно обычная живописная картина.

– Да, вырасту, тоже буду художником. – Неожиданно проговорил про себя Сережа, чувствуя всеми фибрами восхищенной души, что сможет не только замечать вокруг открывающуюся глазам красоту, но и мастерски изображать её. Его тут же осенило ослепительной мыслью о том, что созерцание, а тем более сотворение красоты – есть самое сладкое из всех существующих и существовавших когда-либо человеческих деяний. Ибо оно – подобно опьянению. А красота опьяняет всякого, вступившего с нею в душевное соприкосновение, именно своей поэтической властью над людскими душами. И ненавязчиво побуждает их делаться красивее, а, следовательно – добрее и чище. Это поэтическое властвование красоты над человеческими душами будет длиться до Конца Концов, когда человек абсолютно уподобится Богу и сам станет таким же прекрасным, как Бог.

Сережа безоглядно поверил этому взрослому глубокомысленному пониманию, невесть каким образом возникшему в его подростковом сознании. А дабы немедленно продемонстрировать готовность признать над собою поэтическую власть КРАСОТЫ, вознамерился тотчас торжественно поцеловать розовые ступни похожей на Боттичеллиевскую мадонну Валерии. И от огромного волнения позабыл даже, что лежит сейчас вовсе у Лериных ног на жесткой растрескавшейся земле, подобно религиозному фанатику, лежащему навзничь перед распятием или иконой. А – в мелкой, дурно пахнущей сероводородом луже, и на значительном удалении от Леры. А когда натужно перевел созерцательное состояние души в деятельное, чтобы поцеловать-таки Лерины ступни, то обнаружил, что аккуратные ноготки на розовых, как у непорочного младенца, пальчиках – выкрашены в кричащий огненно-красный цвет, излучающий напористую похоть. Да еще издевательски – окроплены поверх бесстыдной красноты ядовито-желтыми блесками. Тотчас к горлу подступила муторная дурнота душевного отравления. Сережа резко отдернул ошарашенный взгляд от выкрашенных в ядовито-красный цвет ногтей, судорожно сомкнул веки и глубоко неприязненно содрогнулся. Красные ногти оказались подобными ложки омерзительного черного дегтя в бочке золотистого меда, и издевательским глумлением над его доверчиво распахнувшейся поэтической красоте детской душой. Издевательством, несопоставимо более оскорбительным, чем хулиганский акт ополоумевшего Сальвадора Дали, пририсовавшего заливчатские усы бесподобной Моне Лизе бессмертного творения великого Леонардо.

– Ну, как желаешь. Я ждать тебя больше не буду. – Тут же скатился с высоты вниз в наступившей для Сережи кромешной тьме огрубевший, но по-прежнему музыкально бархатистый голос Леры. – Повзрослеешь, выберешься из лужи, и тогда сам бросишься нагонять нас...

## 3

Гудронная чернота перед плотно сомкнутыми веками Сережи начала разжижаться; уставшие от судорожного напряжения веки обмякли. И будто вялые резиновые пленки, слегка обвисли, перестав давить на глазные яблоки. Неприязненная стоявшая в глазах чернильно-грозовая туча неравномерно осветлилась. И когда начала пятнами розоветь, будто разгорающаяся утренняя заря, Сережа услышал тихую музыку. Она, казалось, доносилась до его обостренного слуха из потаенных душевных глубин. Явственно чувствовалось, что творят её мелкие и тонкие мышцы, что располагаются между низом живота и крестцом. Умеренно натянувшись, или, наоборот, достаточно расслабившись, они вибрировали, будто струны. Хотя никаким образом невозможно было определить: сами ли они, самопроизвольно вибрируя, творят эту милую музыку, или же, отзываясь на неё, исходящую откуда-то еще, вибрируют в такт ей, словно камертоны...

Следом явственно послышалось, что такая же музыка, хорошея и усиливаясь, доносится и откуда-то извне: из какого-то неведомого таинственного далёка. Будто где-то далеко, может быть даже на краю земли, исторгает её таинственный репродуктор. А она дивными волнами разбегается по всей земле, словно паутинки круговых волн на водной зеркальной глади. И мягко накатываясь на всякого, кто способен её услышать, наполняет душу благодатью. Словно поит его, страдающего жаждой – бесподобно вкусной чистой прохладной ключевой водой. Но еще большую сладость доставляло Сережиной душе искристое столкновение дивных музыкальных волн, рождающихся в нем и тихо выплескивающихся из него наружу, с дивными музыкальными волнами, накатывающимися на него снаружи. И такая сладостная музыка рождалась от разнородных звуковых завихрений, в которых смешивались и сплавлялись воедино внутренние и внешние звуки, что сделалось ему никакой возможности молча терпеть творимое ими в его душе райское блаженство.

Сереже снова неудержимо захотелось залиться колокольчиковым смехом. Но теперь понимая, что беспричинный смех сделает его похожим на сумасшедшего, он не стал смеяться. Но чтобы направить обуявшую его душу и тело сладкую бодрость духа в нужное направление, встрепенулся, спружинился. Вскочил на ноющие от истомы ноги, выпрямился во весь рост, резко открыл глаза. И то, что увидел вокруг – поразило его. Всё было неопишимо красиво. Но не так, как давеча, будто выписано или изваяно художником, а – прекрасно само по себе. Прекрасно, как сам нерукотворный оригинал, вдохновивший мастера на сотворение нетленной рукотворной красоты.

Всё, на что только ни наткался удивленный и неловко спотыкающийся от растерянности Сережин взгляд – выглядело великолепно и торжественно. И – иссушенная свирепо-жгучим солнцем потрескавшаяся земля. И – высунувшиеся на свет из её глубоких темных трещин изумрудно-зеленые молодые кустики верблюжьей колючки. И – околосившиеся высохшие дикие злаки, торчащие пучками острых желтых иголок на узкой полоске рыхлой и слегка опушенной солью земли, втиснувшейся между бетонными пойменными такырами и дряхлым осыпающимся обрывистым пойменным берегом. И – даже привольно выросшие на обрыве, в проемах между массивными глиняными глыбами пышные шарообразные кусты верблюжьей колючки, украсившие свои длинные зеленые колючки крошечными красными, похожими на капельки свежеступившей крови, нежными цветочками. И все это – излучало изумительное пение. Чудилось, будто они сами на свой изысканный вкус и по собственному воодушевлению творили прекрасные звуковые завихрения, которые и затягивали, словно в пляску, в единый звуковой сплав музыкальные волны, исходящие из Сережиной души. А теперь и вовсе казалось, будто творимая ими музыка – синтетическая: внутренняя и внешняя. И что исходит она из

глубочайших вселенских недр, дабы воссоединиться с внутренней Сережиной музыкой и слить воедино его индивидуальную душу со всеединой душой вселенского мира.

И только чуток иначе: таинственнее и многозначительнее – звучал на фоне этой музыки сброшенный ночным ветром с пойменного берега валяющийся мусор. Легкие, как птичьи перышки, пожухлые лепестки выгоревшей травы; ссохшиеся, словно мумии. Почерневшие от времени полуистлевшие стебельки прошлогодних былинки. И даже невесть каким образом оказавшиеся здесь рваные клочки ветхой и хрупкой, словно пепел, серой бумаги. Все эти соринки, оказавшиеся тут случайно, тоже пели свою дивную песнь и явно выказывали таящийся в них многозначительный смысл, будто брошенные на истершийся коврик гадальные кости маститого мага. Сереже почудилось, будто это сама расположившаяся к нему душа вселенского мира, образовав с его душой единение и согласие в совместном творении музыки, что-то пытается дать ему сказать...

Пребывая в сладостном оцепенении от обуявшей душу дивной музыки, он невольно сосредоточил взгляд на валяющихся соринках. Все больше и больше прикипая душой к издаваемому ими таинственному музыкальному звучанию. И когда душа его, как камертон, начала звучать в унисон с соринками, ему почудилось, будто все его естество вобрало в себя и издаваемую ими таинственность. Тут же открылся их ошеломительный смысл. Сережа обмякшим сердцем безоговорочно принял его. Хотя «гадальные кости» соринки открыли ему то, что в принципе не могло быть. А именно – что он никогда прежде тут не был. Несмотря на то что место, на котором находился, было знакомо до каждого кустика верблюжьей колючки, до каждой трещинки ссохшейся береговой земли. Более того, он с этим местом давно душевно породнился, часто приходя сюда с друзьями. Чтобы полежать в сероводородном источнике во время полуденной жары, когда сюда никто не приходит, и не надо подолгу томиться в очереди... Но в ответ на его невольное недоумение «гадальные кости» соринки опять каким-то непостижимым образом дали ему понять, что тут нет никакого противоречия. Просто третьего дня, давеча, и даже сегодня, когда только пришел сюда, он пребывал тут лишь в одном – настоящем времени. А сейчас – пребывает разом во всех временах: настоящем, прошедшем и будущем. Хотя по людскому обыкновению воспринимает все эти времена, как одно – настоящее время. И зрит это место таким, каким оно одновременно было и третьего дня, и тысячи тысяч лет назад, и каким возможно будет через тысячи тысячелетий...

Понять умом такое Сереже было не под силу, а верить чему-либо слепо он не позволял себе сызмальства. Поэтому подверг по обыкновению умственному скепсису понимание, которое навяли ему валяющиеся вокруг соринки. Но его здравый скепсис подействовал на его душу, как разъедающая нежную ткань щелочь. И в его обожженной душе стала затухать, подобно медленно гаснущему электрическому свету, звучащая музыка. Непроизвольно передернувшись, он усилием воли вернул внимание дивной музыке, дабы с наслаждением внимать её чарующим звукам. Но зато в нем тотчас начал разжигаться здравый умственный скепсис, и казавшееся невероятным минуту назад негаданное откровение перестало казаться недопустимым... А когда он, вознамерившись примирить рассудок и душу, принял как гипотезу, хоть и кажущуюся безумной, возможность своего пребывания разом во всех трех временах, чудная музыка зазвучала громче и увереннее. Вспыхнувшая было в нем минуту назад внутренняя борьба утихла и наступил милый уму и сердцу душевный лад. И тут он воочию увидел подтверждение того, что действительно пребывает сейчас на месте, на котором никогда прежде не бывал... Разве что только кое-когда и навевывался сюда в своих самых глубоких и таинственных, но сейчас напрочь забытых сновидениях...

Произошло это в тот момент, когда яркие и немного жгучие световые всполохи отвлекли его внимание от созерцания «игральных костей» соринки. Повернув голову в их сторону, Сережа увидел и сам источник жизнерадостных солнечных зайчиков. Им оказался крохотный водопадик с мерно журчащей прозрачной водой, играющей на солнце, будто падающие вниз

алмазные самородки. Этого инкрустированного бриллиантами и чистейшим горным хрусталем водопадика точно не было ни сегодня, ни давеча, ни во все прошлые дни. А был на его месте округлый ключ в песчаном обрамлении с булькающей, как в кипящем котле, водой, выбрасывающей из земельных недр блестящие песчинки. Теперь сероводородная вода стекала в озерцо, напоминающее лужу, с небольшого возвышения. И падая с естественного глиняного желобка, искристо дробилась. Каждая её капля сверкала на солнце, словно драгоценный камень. А ударяясь о воду озерца – высекала радужные, похожие на мыльные, сверкающие на солнце пузыри, которые мелодично лопались, рассыпаясь на мелкие, похожие на микроскопическую пыль, алмазные брызги. Тотчас на их месте вскакивали новые шарообразные водяные зеркальца, выпукло отражающие окружающий мир и игриво вбрасывая в него радостные всполохи.

Поразило Сережу до глубины души и сладкоголосое журчание падающей воды. Оно было монотонно мерным, чуть звучным, будто невнятное бормотание увлеченного до самозабвения каким-то своим деянием годовалого ребенка. Несказанно музыкально красивым и глубоко философичным. Преисполненным несопоставимо большим таинственным многозначительным смыслом, нежели валяющиеся вразброс соринки. Весь обостренный слух Сережи тотчас стал жадно внимать интригующему журчанию. Потому как он вдруг понял, что именно это журчание – есть музыкальный первоисточник музыки, обуявшей его. И что это журчание – соло, а остальные звуки – создают музыкальный фон ему, подобно камерному оркестру. Затрепетав от радости и взорвавшегося воодушевления, он упоенно вслушался в тихое журчание водопадика. Стал различать отдельные, как бы самостоятельные звуки, похожие на слова, произносимые гортанным голосом и на незнакомом языке. И к пущему воодушевлению догадался, что это сама вселенная музыкально заговорила сейчас с ним живым крошечным язычком, падающей с небольшого возвышения чистой родниковой воды.

Не отрывая завороченного взгляда от искрящегося водопадика, Сережа на подгибающихся ватных ногах подошел к нему и грузно упал перед ним на колени. Перетерпев тупую, донесшуюся издалека боль от впившихся в коленные чашечки острых ребер растрескавшейся земли, умиленно улыбнулся во все осветленное радостью лицо. Ярko почувствовал, что обратился в своей душе в годовалого ребенка, неведающего смысла человеческих слов, но уже сполна постигшего более значимый смысл звуков и образов, спонтанно возникающих в себе и вне себя. Робко обмирая сердцем, опустил сложенную лодочкой ладонь в тихую воду. И она, расступившись перед ладонью и образовав за тыльной стороной легкое волнистое завихрение, принялась нежно тереться об неё, словно замурлыкавшая домашняя кошка.

Обмирая от вспыхнувшего почти забытого стародавнего детского восторга, Сережа опустил в воду и растопыренные пальцы второй ладони. Ручьевая вода принялась заботливо вылизывать каждый его палец, словно истекающая нежностью матерая корова – своего только что народившегося теленка. Чувствовать себя несмышленным ребенком, упивающимся сочной материнской любовью, оказалось несказанно сладко. Не в силах удержать в себе ответную нежность, Сережа лег на растрескавшуюся землю. Не обращая внимание на впившиеся во впалый живот острые грани такыров, напоминающие лезвия затупленных ножей – обмакнул в нежную прохладную влагу своё лицо. Стал тереться о воду раскрасневшимися щеками... Хотя в детские времена, когда мать, умиляясь, глядячи на него, принималась ласкать его, обволакивая накопившейся нежностью, он обычно сердито её отторгал. Делал это, порой, нарочито грубо, обижая мать, недвусмысленно показывая ей, что он – взрослый, и телячьи нежности остались для него в прошлом. И делал так потому, что она, лаская его, невольно отводила ему, взрослому тяжело и мучительно, роль младенца, и этим как бы снова запихивала в становящееся все более ненавистным безответственное детство.

Но теперь было иное, никогда прежде не переживаемое: его ласкало НЕКТО несопоставимо могущественнее и роднее, чем мать. Чудилось, что и всякий умудренный старец, оказавшись на его месте, не стыдясь и, тем более, не протестуя, с готовностью ощутил бы себя сейчас мла-

денцем. Хотя и чувствовалось, что эта кроткая терпеливо-нежная любовь, излучаемая НЕКТО, была именно материнской любовью. Цепenea от счастья, Сережа всеми фибрами своего естества все больше убеждался в том, что это НЕКТО – мать. Но – МАТЬ всех матерей. И ни только людских: когда-либо живших и живущих сейчас, рождающих своих чад в муках и радостях. Но и всех иных – исторгающих из своих лон всякую сущую жизнь. Животную и растительную, и даже каменную, кажущуюся на первый взгляд неживой, как ссохшаяся и растрескавшаяся на солнце береговая земля... Сереже стало понятно, что любовь, ласкающей его всеобщей МАТЕРИ – так несопоставимо велика потому, что она сложена из любви всех матерей во вселенной. И что эта ПРАМАТЕРИНСКАЯ любовь никогда не иссякает и не уменьшается ни на йоту, потому что и не дробится вовсе, а остается всегда величиной неизменной. Тогда как каждой земной матери любви отпускается столько, чтобы хватало беззаветно любить собственного дитяти. И человек, зверь, даже растение, повзрослев и проклюнувшись, словно цыпленок из яичной скорлупы, из духовного лона любви собственной матери, конечно же, желает взамен оказаться в лоне Великой ПРАМАТЕРИНСКОЙ Любви...

– Ну, конечно же, ведь всякая жизнь на земле вышла из воды. И мы, люди, рождаясь, выходим на свет из околоплодных материнских вод. Потому всякая вода и напоминает нам материнские воды. А вместе с ними и то забытое несказанное блаженство, которые мы переживали в материнском лоне, бывшем для нас единственным вселенским миром...» – Неожиданно для себя глубокомысленно проговорил Сережа. Тут же почувствовал, что мысль его не полностью верна, поскольку ласкающая его ручьевая вода не могла быть ПРАМАТЕРЬЮ. Разве что – первостихией: поскольку она, родившая земную жизнь – сама была загодя рождена ПРАМАТЕРЬЮ. А ПРОМАТЕРЬ по определению не могла быть рождена никем, и, скорее всего, она и есть – та самая ПЕРВООСНОВНАЯ ЛЮБОВЬ, которую способен излучать только Сам Бог. И тогда, выходило, что именно Сама Непосредственная ЛЮБОВЬ Бога и обратилась в ПРАМАТЕРЬ всех вселенских матерей...

Откорректировав таким образом свою мысль, Сережа удовлетворенно вернул внимание к искристо блистающей хрусталем воде. Дабы углядеть, на сколько оценила его глубокомыслие говорящая с ним язычком крохотного водопадика Сама ПРАМАТЕРЬ. Почувствовал, что ПРАМАТЕРЬ осталась удовлетворенной им отчасти, потому как желает ни столько ПОНИМАНИЯ того, что посредством умозаключения понять чрезвычайно трудно. И не потому, что людской ум тут беспомощен. А оттого что тут вовсе и не ума дело. Ум его справился блестяще: Понял и Распознал ЕЁ. Но теперь должен расслабиться и уступить поле деятельности иному органу. Но какому именно органу? – Этого Сережа не ведал, и потому не смог сразу сознательным волевым усилием включить его в послеумственную работу.

## 4

Не зная, как теперь быть, он задумался, невольно погрузив внимание в себя: тотчас из глубины дыхнуло ледящим холодком одиночества. Испуганно отдернув внимание, Сережа порывисто вернул его журчащей воде, стараясь сразу же услышать благодную музыку. А пока напрягался, намереваясь, словно губка, вновь жадно впитывать сладостные звуки, в памяти вспыхнуло стародавнее воспоминание. Когда мать, бывая им недовольна, в наказание душевно отдаляла его от себя. А ему, охваченному паническим страхом одиночества, никак не удавалось понять, за что же мать наказывает его. А страх его охватывал потому, что не было ведомо, что же ему надобно было сделать, чтобы исправиться. И чтобы мать, простив его, убрала воздвигнутую ею между ними пугающую стену душевного отчуждения. Всякий раз, не в силах терпеть острую как нож муку несправедливого одиночества, он не мог придумать ничего другого, кроме как разрыдаться в голос. И глотая слезы смертной обиды, в сердцах укоризненно выговорить ей: «Но, мамочка миленькая, я же ведь так сильно люблю тебя!»

Это воспоминание тотчас трансформировалось в сознании в яркую вспышку понимания, что и ПРАМАТЕРЬ, как и его родная мать, ждет от него признания в любви... Сережа тут же, не медля ни мгновения, жарко признался ЕЙ, что любит ЕЁ. А вместе с нею любит всё, что его окружает. И тотчас к пушей радости понял, что несказанно красивую музыку, которой он упоенно внимает – рождала совместная их совместная: ЕЁ и его – ЛЮБОВЬ. Вытекая из душ навстречу друг дружке, ЕЁ и его ЛЮБОВЬ и образовывали замысловатые завихрения, которые обращались в благодные звуки... И давеча открылись ему в неопикуемой красоте тростниковый лист и растрескавшаяся береговая земля лишь потому, что он всем своим сердцем ЛЮБИЛ и тростниковый куст, и береговую землю... А уж после этого понял, наконец, главное – он всё последнее время мученически страдал от одиночества потому, что никого и ничего не любил...

А затем как по накатанному сделалось ему понятно и то, что не любил он никого и ничего потому, что в подростковой запальчивости трудного возраста заглушил в себе любовь к родной матери. Поскольку считал, что мать мешала ему становиться взрослым. Лаская его, как ребенка, она невольно силой удерживала его, словно в силках, в делающемся ненавистном детстве. Но подавив усилием воли любовь к матери, он ошибочно решил, что, взрослея, люди, вообще, перестают любить. А потому его сладкая детская любовь к миру и матери, так же, как ненасытная страсть к конфетам, должна остаться в детстве... И вот только теперь открылось, что ему не надобно было отказываться от ЛЮБВИ. А надо было – поменять детскую любовь к матери на взрослую любовь к ПРАМАТЕРИ, единой для всех, любящей всех и дающей ЖИЗНЬ всем. Ибо такая жизнь с любовью – и есть истинная жизнь, жизнь во счастье, и потому она несказанно и непостижимо прекрасна...

Поняв свою ошибку и тотчас исправив её, Сережа решил, что впредь будет **ЖИТЬ ЛЮБЯ**. И к пушему удовлетворению облегченно почувствовал, будто с его души опали оковы, в которые он сам себя заковал. А в едва различимой душевной глубине, в которой несколько минут назад стояла гадкая затхлость одиночества, вдруг с каких-то потайных наглухо закрытых дверей разом отвалились замки. Душа воодушевленно распахнулась и по ней в радостном ликовании пронесся освежающий ветерок... Сережа понял, что прощен, и что теперь его сердце снова будет сладко волноваться от любви. В благодарность надоумившей его ПРАМАТЕРИ он с осознаваемой любовью посмотрел на журчащую ручьевую воду и почувствовал, что в ней больше нет укоризны. Но теперь она сполна удовлетворенная им душевно отвернулась от него, дабы заняться иными своими текущими делами. Но это вовсе не обернулось душевным разрывом между ними. Наоборот – еще больше укрепило восстановившийся лад. Сережа вспомнил, что такой духовный лад, ничуть не менее сладкий, чем сама любовь, устанавливался

и в детстве между ним и матерью. Когда она с дремотной монотонностью вязала шерстяные носки, непрестанно шевеля потресканными выпуклыми губами. А он, к огромному удовольствию предоставленный самому себе, увлеченно конструировал или рисовал акварельными красками в альбоме. И тоже о чем-то самозабвенно сам с собою разговаривал.

Невольно задумавшись, Сережа вновь неожиданно глубокомысленно проговорил про себя: «Так это у нас всего лишь завершилась фаза любви *деятельной*, и на смену ей пришла фаза любви *потенциальной*... Но так ведь и должно быть: ЛЮБОВЬ, как главная жизненная энергия – растрачивается, сгорая, при деятельном проявлении, а потому должна и накапливаться. А лучшего условия для восстановления любви, чем душевный лад – и быть не может...»

И вот теперь в Сережиной душе сделалось ладно и тихо, будто не только он сам, но и все, что было вокруг, погрузилось в полуденный сон. Даже солнце, крошечное и ослепительно резкое, как пламя электросварки, казалось, задремало вместе со всеми, прикрыв единственный глаз матовым слюдяным веком, и от этого сделалось доверчивым и добродушным. Дивная красивая задушевная музыка, что давеча сочно исходила от каждого зеленого кустика, каждой ссохшейся сорной былинки, от растрескавшейся земли и, особенно от журчащей ручьевой воды – куда-то исчезла. Будто для невидимых вдохновенных оркестрантов наступил всеобщий антракт, и они по заведенному порядку вещей дружно погрузились в полуденный сон. Всё вокруг стало пронзительно и щемящее пустынно. Пышные янтарно-зеленые кусты верблюжьей колючки с красными кровавыми капельками крошечных цветов на ошестинившихся колючках, бледно-зеленые тростинки с длинными узкими листьями, оканчивающимися ороговевшими колючками и с цветущими бледно-желтыми поникшими от набухшей сочной тяжести метелками – стали выглядеть обыкновенно. Сказочное очарование, которое они давеча дружно излучали – исчезло. Будто кончилась дивная сказка с великолепно раскрашенными декорациями. А взамен наступила обычная ничем особенно не выделяющаяся будничная жизнь. На обмякшей душе Сережи сделалось грустно и даже чуток щемящее тоскливо. Захотелось куда-то уединиться и тихо втайне от всех, даже от тростинок и кустов верблюжьей колючки проникновенно погрустить, а может быть даже и поплакать...

Потому как грусть, которая пышно обуяла его сейчас, была необычайно светла и сладостна. Ибо знал (и абсолютно верил в истинность этого знания), что дивная музыка, которой заворожено внимал, и несказанная красота, которую упоительно зрел – никуда не исчезли. А по заведенному Самим Богом вселенскому порядку вещей перетекли в его душу, и сейчас в полной целостности и сохранности пребывают в его душе слившимся воедино творческим сгустком. Дабы в любой момент по Божьему повелению и его, Сережиному, разумению излиться этим сгустком на загрунтованный холст или на чистый лист нотной тетради, в зависимости от того, что пожелает он, Сережа сотворить: музыкальные звуки или живописное изображение...

Тотчас уверенно почувствовал, что вполне смог бы сотворить прямо сейчас и прекрасную музыку, и прекрасное изображение. Ежели знал нотную грамоту, то записал бы музыку нотами. Ибо чувствовал, что нотные значки-закорючки столпились перед входом в его сознание и ждут от него команды-разрешения влиться в него, дабы выстроиться неровными рядами сложившейся музыкой. Но Сережа не знал нотной грамоты, и чтобы не давать толпящимся нотам категоричного отказа, решил непременно овладеть нотной грамотой. Сразу же почувствовал, что легко смог бы наиграть на каком-нибудь инструменте, к примеру, на фортепьяно перетекшую ему в душу вселенскую музыку, потому как и звуки тоже, как ноты, толпились перед сознанием в приподнято-радостной готовности быть услышанными и распознанными. Не умея играть на музыкальных инструментах, он решил непременно овладеть и игрою на них. А чтобы не томить толпящихся звуков в долгом ожидании, вознамерился тут же и напеть дивную мелодию. Но едва запел, как страстно почувствовал, что ему хочется изобразить и красками несказанную красоту, которая только что доверчиво приоткрывалась ему. Потому как красота слышимая оказалось неполной без красоты видимой. Сразу же в ярком воображении

узрел, как, напевая, рисует кистью на холсте напористо грубоватые в своей очевидной неза-мысловатости пышные кусты верблюжьей колючки и изысканные, где-то даже чуток манерные тростниковые листья. И оживающие на холсте колючки и листья – упоенно поют вместе с ним. Затем эту песнь подхватывает скупая, противопоставляющая себя выгоревшему полуденному небосводу приозерная зелень... И Сереже как сложившемуся мастеру ведомо, где нужно чуток усилить естественное, природное противоборство ультрамарином. А где добавить нарочитой желтизны в прозрачную воду, дабы утвердить и умножить складывающийся на холсте несказанно милый сердцу душевный лад. Ради сотворения которого он и будет писать живописные картины...

## Глава вторая

### Соприкосновение с тайной

#### 1

Решив стать художником во взрослой жизни, Сережа осторожно поднялся на ноги, стараясь удерживать в душе хрупкое состояние душевного лада. Умиrotворенно огляделся вокруг и решил подумать над главной странностью происходящего события. Дабы понять, как же могло случиться так, что он, час назад придя сюда с друзьями, оказался один без друзей и в другом месте. А то, что это действительно было другое место – сомнений больше у него не возникало. Потому как тут прежде хоть и было такое же озерцо, обрамленное плотной зеленой стеной тростника и рогоза, такой же обрывистый пойменный берег, поросший пышными зелеными шарами цветущей верблюжьей колючки и такая же глубоко растрескавшаяся земля. Но тут прежде не было ручья и ущелья между крутыми пойменными берегами, на дне которого ручей вымыл извилистое русло, местами поросшее невысокими тростинками, а местами голое с сухими глиняными бережками.

Да и таинственная многозначительная атмосфера, которой тут сочно было пропитано все – говорила, что это и в самом деле другое место. Эта атмосфера густым невидимым облаком лежала в расщелине, словно огромное дремлющее духовное существо. Сережино естество явно реагировало на неё иначе, чем на ту, обычную, что была прежде. Час назад он и его друзья пришли сюда через похожие на ад полуденные солончаки и с резвостью хрюшек плюхнулись в сероводородную лужу. И его душа, доверившись этому месту, обмякла и разнежено замерла. А теперь она была как-то особенно собранной. Пристально и как бы автономно от сознания вглядывалась подслеповатым духовным зрением в обуявшую её иную духовную стихию. Но в отличие от сознания душе его чудилось, будто она здесь когда-то бывала, и тут нет для неё ничего враждебного. И вместо того, чтобы непроизвольно сжаться в тугой кулак, что с ней непременно бы случилось на незнакомом месте, она, наоборот, стала размякать и непроизвольными короткими вспышками сладостно обмирать в потаенных глубинах. Будто боялась сполна поверить, что негаданно встретила милого друга, с которым давно простилась и перестала надеяться, что когда-либо удастся с ним встретиться вновь.

– Вот уж, действительно, где красота, там и любовь; а где любовь, там и тайна. – Вдруг глубокомысленно произнес Сережа. И совсем для себя неожиданно принялся рассуждать на эту тему так, будто он – умудренный книжными знаниями и солидным жизненным опытом муж. Но никак не юный отрок, ни минуты не живший взрослой жизнью. – Чем великолепнее красота, тем сильнее любовь, а чем сильнее любовь, тем глубже тайна... И, конечно же, настоящий художник творит не красоту: образную или звуковую. Красота в мире уже есть, и существует она в мире – нерукотворно, но её надо узреть. А кто не сможет углядеть красоту нерукотворную, тот не узрит и – рукотворную. Нет, определенно художник творит ТАЙНУ. И такую ТАЙНУ, которую, не умея постичь умом, постигает сердцем. А не умея выразить ТАЙНУ словами (ибо ТАЙНА – всегда глубже слов, потому как глубже самого человеческого сознания), Художник пользуется вместо слов – звуками и образами, а порою – разом тем и другим: поющими цветом и линиями... Но чтобы углядеть в мире ТАЙНУ, надобно открыть Миру сердце. А сердце открывается лишь для того, чтобы – ЛЮБИТЬ. Вот почему ТАЙНА всегда возбуждает ЛЮБОВЬ и, наоборот, ЛЮБВИ всегда отрывается ТАЙНА. Но ЛЮБОВЬ – это свет горнего мира. И всякая вещь, предмет, явление, тварь, на которую ненароком или целенаправленно падает этот свет – делается несказанно прекрасной. Ибо КРАСОТА – это то,

что озарено горным светом. И потому дабы смочь сотворить КРАСОТУ рукотворную, надобно постичь ТАЙНУ; дабы ТАЙНА в свою очередь возбудила в сердце ЛЮБОВЬ. Ибо КРАСОТУ, сотворенную без ЛЮБВИ, а, следовательно, без ТАЙНЫ – узреть КРАСОТОЮ и невозможно вовсе. Даже сам художник, творящий без ЛЮБВИ, а значит, не ведающий ТАЙНЫ, не сможет узреть в своем творении КРАСОТУ. Едва погаснет пыл его несозревшего вдохновения, тотчас исчезнет и КРАСОТА с его холста или партитуры. И он, несчастный, будет недоуменно глядеть на творение, не понимая никак, почему блистательные алмазы и золотые монеты, которые только что в момент вдохновенного акта упоительно ласкал жадными пальцами, превращаются на его глазах в блестящие стекляшки и зеленеющие медные монетки... Нет, человек становится Художником не тогда, когда достигает филигранного мастерства владения кистью или игрою на музыкальном инструменте, а – когда ему удастся проникнуться ТАЙНОЙ. Благодаря которой он может быть даже и вопреки своему филигранному мастерству становится способным выражать образами или звуками постигнутую сердцем ТАЙНУ. И отображая её, может возбуждать в себе и во всяком ином заинтересовавшемся ТАЙНОЙ человеке – ЛЮБОВЬ. А благодаря ЛЮБВИ, этому излучающему человеческими душами горному свету – зреть и сотворенную КРАСОТУ...

## 2

Проговаривая вслух, неожиданно пришедшие на ум глубокие мысли, Сережа, словно сомнамбула, ничего не видя вокруг, медленно брел с низко опущенной головой по голому берегу тихо журчащего ручья. И когда закончил рассуждать, остановился, опомнился и обнаружил, что его рассеянный взгляд невольно прикипел к странным, медленно колышущимся на юрком течении водорослям. Длинные и плоские, они, словно лапша – то заметно вытягивались в длину, как резинки для авиамоделлизма, отдаваясь течению, при этом ничуть не утончаясь; то легко оттягивались обратно, и походили на щупальца неведомого ручьевого головонога... Хотя по цвету и форме выглядели обычными водорослями – изумрудно сочными, а на плавно заостренных кончиках – кричаще-зелеными. А их закругленные и стоящие дыбом утолщенные основания были темно-бардового цвета с переходом на серо-коричневый цвет, напоминающий обильно политый дождем чернозем.

Заворожено залюбовавшись ручьем, Сережа присел перед ним на корточки. Невольно опустил в прохладную воду пальцы, чтобы потрогать водоросли. Они и на ощупь не отличались от других водорослей, к которым ему доводилось прикасаться. Однако повели они себя в ответ на прикосновение – будто настоящие щупальцы. Вмиг обвились вокруг пальцев тесной спиралью, похожей на цилиндрическую пружину, и отчетливо ощущаемо сдавили их, словно по-дружески радостно пожали руку. Это неожиданное рукопожатие оказалось приятным. Но Сережа вместо того, чтобы тоже обрадоваться в ответ, опасливо подумал, что ему следует отнестись к ним настороженно, потому как никогда прежде ни с чем подобным не сталкивался... Хотел было даже отдернуть руку. Но водоросли прежде чем его ум осенила опасливая мысль, прочитали её и поспешили сами убрать в нем беспокойство. Расслабленно разжались и опали с его пальцев, будто кольца. А пока он оправлялся от новой волны изумления, они, отдавшись течению, распрямились. И снова как ни в чем не бывало завораживающе заколыхались на течении, растягиваясь и стягиваясь, будто плоские зеленые резинки...

Теперь Сережа проникся к ним безоглядным доверием. Даже с ухарской легкомысленностью предположил, что они, забавляясь с ним, приглашают его, будто игривые детишки – принять участие в их ребячьей забаве. В приливе радужного доброжелательства Сереже захотелось запустить в водоросли всю пятерню, и как густую шевелюру дружески потеревить их. Но, удержавшись от этого, как ему подумалось, легкомысленного порыва, решил отстраненно понаблюдать за ними с азартным любопытством увлеченного исследователя. И сразу заметил, что они, легко прочитав это намерение, дружно на него обиделись, словно и в самом деле были детьми. Как бы нарочито надули пухленькие губки и демонстративно от него отвернулись. Но явно дали ему почувствовать, что сделали так специально, чтобы спровоцировать в нем порывистое желание броситься к ним и играючи-таки их потискать.

Но он и теперь сумел сдержаться. Но ведомый исследовательским азартом решил-таки опустить руку в воду и потрогал водоросли. Однако они теперь почему-то на его прикосновение не отреагировали. В задумчивости покусывая губы, Сережа подумал, что их необыкновенное поведение ему привиделось, потому как у него от перегрева на полуденном солнце что-то случилось с психикой. А когда невольно рассредоточил взгляд, намереваясь оторвать его от воды, вдруг под колышущимися водорослями обнаружил на дне ручья россыпь каких-то блестящих камешков. Которые ярко сверкали, когда на них попадали солнечные лучи, лихо пробивающихся через толщу прозрачной воды. И совсем не походили на донную гальку или на осколки битого бутылочного стекла. Потому что имели выраженную ограниченную форму, ничуть не были загрязнены илом и не тронуты зелеными пятнами микроскопических водорослей. Предположив, что и эти камешки ему грезятся, Сережа, чтобы проверить это, вновь опустил ладонь в ручьевую воду. Нашупал первый попавшийся ему в пальцы донный камешек и

определил, что он действительно настоящий, и что это действительно не галька, и не осколок битого стекла. А когда поднес его к глазам, чтобы разглядеть внимательнее, непроизвольно зажмурился от ударившего в зрачки пучка солнечных лучей, отраженных игривым камешком. Повертев его в пальцах вслепую, убедился, что огранен он чуть ли не идеально. А поскольку так ограниться под воздействием случайной природной стихии невозможно в принципе, предположил, что камешек огранен рукотворно. И сразу задался вопросом: каким же образом рукотворно ограненный камешек мог оказаться в ручье в россыпи таких же ограненных и, похоже, таки драгоценных камней?..

Но когда открыл глаза, намереваясь перетерпеть слепящий поток солнечных лучей, отражаемых камешком, чтобы внимательнее оглядеть его, обнаружил, что камешек не блестит, как давеча, а наоборот выглядит тусклым, как бы погашенным изнутри. Правда, зато без помех удалось разглядеть, что он прозрачен, как вымытое оконное стекло, и огранен в самом деле идеально. Первоначальное предположение, что так огранить его можно лишь рукотворно – перестало вызывать сомнение. На душе от возникшей уверенности сделалось легко и даже как-то нестерпимо удивительно. Захотелось немедленно понять, почему же филигранно ограненный камешек перестал сверкать на солнце, будто специально позволил рассмотреть себя внимательнее?

И когда непроизвольно задавался этим вопросом, пытливо вглядываясь в высохший ручьевого камешек, вдруг хорошо развитым боковым зрением увидел, что водоросли снова повели себя как давеча – удивительно и странно. Собравшись в тугую косичку, похожую на указку, они развернулись острым концом против течения и многозначительно замерли, будто указующий перст. Не зная как относиться к увиденному, Сережа непроизвольно перевел взгляд на них, а они вмиг вроде как ощутили на себе его взгляд, тотчас с досадой расслабились и, отпустив себя, поплыли обратно вниз по течению, расплетаясь и распутываясь... Вытянулись на первоначальную длину и заколебались как обычно. Сережа в намерении избавиться от навяздения резко зажмурился. А когда открыл глаза, в поле его бокового зрения напористо ворвались искристо сверкающие радужными цветами лежащие на дне ручья ограненные камни. И теперь скорее инстинктивно, чем осознанно он отдернул прямой взгляд от водорослей и перевел его на сверкающие камешки. И те, едва на них попал его прямой взгляд, все как один дружно погасли. Зато водоросли, едва оказались в поле его бокового зрения, мигмом снова сплелись в длинный указательный палец и решительно повернули его заостренный кончик против течения...

Теперь и вовсе не зная как понимать происходящее, Сережа невольно бросил прямой взгляд против течения, куда якобы порекомендовали ему посмотреть собравшиеся в указку водоросли. И таки увидел в метрах семи от себя лежащий на глиняном дне расколотый надвое глиняный кувшин. У повернутого вниз по течению и как бы разверзшегося горлышка его – высилась горка золотых монет, сочно разбрасывающих вокруг жизнерадостные желтые блески. Чуть ниже золотой горки лежали по отдельности на чистом глиняном дне, словно на богатом светло-коричневом бархате – крупные, таинственно мерцающие агаты, изумруды и сапфиры... Теперь Сережа и не стал пытаться взять происходящее с ним поразительное событие под сознательный контроль. А, наоборот, забоявшись спугнуть увиденное, осторожно привстал и крадучись на полусогнутых ногах подошел к лежащему на дне расколотому кувшину. Пристально и с некоторым недоверием оглядел омываемую ребристой, разбрасывающей солнечные блики ручьевого водой горстку высыпавшихся из кувшина золотых монет. И они тоже при рассматривании их прямым взглядом переставали блестеть, но не делались тусклыми. Однако когда Сережа присел и, склонившись над ручьем, вынул из воды выбранную наугад монетку, то она, высыхая, стала тускнеть. И потускнела так, будто её держали над густо коптящимся фитильком. И стала походить больше на серебряную, сильно почерневшую от времени монету, чем на золотую. А затем вовсе начала покрываться тонким и пушистым, как плесень, слоем темно-

изумрудной зелени, будто превратилась уже из серебряной – в медную. Хотя при этой всей своей фантастической метаморфозе явно оставалась монетой. На одной стороне её неизменно выделялся профиль незнакомого сурового лица, а на другой была стершаяся цифра, показывающая денежное достоинство.

Стараясь упорядочить хаотично вспыхивающие чувства, Сережа подумал: что ежели он держит действительно монету, пусть даже медную или бронзовую, то получается, что – нашел клад. Или же кто-то его изошренно разыгрывает тут этими странными монетами и не менее странными водорослями, кажущимися невиданным животным существом... Силясь отдать предпочтение одному из взаимоисключающих предположений, Сережа непроизвольно сдвинул монету пальцами. А она неожиданно упруго согнулась, а затем, когда он, изумившись, ослабил давление, легко выпрямилась. Будто была и не монетой вовсе, а резиновой прокладкой из арсенала жэковского водопроводчика. Неприязненно содрогнувшись, Сережа в сердцах отшвырнул монетку, сделавшуюся уже гадливой и на ощупь. Но плюхнувшись в воду, она издала характерный всплеск, который мог издать только металлический предмет, но никак не резиновый. А быстро опустившись на дно, очистилась от зеленого налета и даже от густой копоти. Вновь став, как и все остальные, похоже, такие же неестественные монеты, выражено желтой. И подставив бок острым солнечным лучикам, протискивающимся сквозь неглубокую водную толщу, явно нарочито засверкала, словно дразняще захохотала...

## 3

Сбитый с толку Сережа стремительно вскочил на ноги и, напряженно разведя руки, судорожно растопырил пальцы. Спокойно понимать происходящее ему не хватало ума и духа. Он чувствовал, коли заставит себя усилием воли пытаться понять, что это за монеты россыпью лежат на дне прозрачного ручья и что это за водоросли, ведущие себя, словно сознательное существо? – то духовно разрядится. И тогда уж напрочь потеряется в себе. Сначала, уподобившись роботу с разрядившимся аккумулятором, оцепенеет от острого малодушия до оледенения членов. Затем от усиливающегося страха неизвестности провалится в панику, которая, вырвавшись из пут волевого контроля на свирепом полуденном солнце, где негде и минуту подержать в тени стриженную наголо непокрытую голову, неминуемо обернется помутнением сознания, коротким сумасшествием, а не исключено и летальным исходом...

Но вместе с тем ему не хотелось отказываться от постижения явившейся ему ТАЙНЫ ручья, мерно текущего по дну расщелины между дряхлыми обрывистыми пойменными берегами. Поскольку в глубине опасливо сжавшегося своего естества он был уверен, что ежели сейчас, в сию минуту, шкурно смалодушничает и заботится постигать эту, возможно, и не самую страшную ТАЙНУ, встретившуюся на его жизненном пути, то больше ни одна ТАЙНА не будет пытаться приоткрывать перед ним пугающий, как любая непредполагаемая неожиданность, свой таинственный лик... А коли смолodu не научится постигать ТАЙНЫ, то не станет художником. Хотя КРАСОТА и будет время от времени открываться ему до самого смертного одра. Но запечатлеть её в звуках или образах, дабы другие люди тоже могли её непосредственно зреть и восхищенно наслаждаться ею – ему никогда не удастся. Потому что КРАСОТА, прежде чем влиться в душу, а затем излиться из неё на холст или нотную тетрадь, будет требовать от него, словно пароля – подтверждения его ПОСВЯЩЕННОСТИ В ТАЙНУ. И коли он не сможет подтвердить свою ПОСВЯЩЕННОСТЬ, то и она, всякий раз, едва иссякнет срок его бесплодного приступа вдохновения, будет напрочь исчезать ТУДА, ОТКУДА появляется на Свет Божий. А следом вытечет из сознания и память о ней, будто песок сквозь судорожно сжимающие его пальцы...

Однако эту подспудную уверенность подтачивало-таки в нем малодушное навязчивое подозрение, что его тут кто-то умело разыгрывает. А потому всё видимое им: ручей, водоросли, монеты – не настоящие, а – превосходные театральные атрибуты. И тогда получалось, что сама явившаяся ему ТАЙНА тоже ненастоящая. Но Сережа не позволил себе принять всерьез это экстравагантное предположение, потому как чувствовал, что в глубине его телесно-душевного естества начал сейчас складываться формообразующий кристалл личности. И это его личностное формообразование полностью зависело оттого: сможет ли он прямо сейчас постигнуть явленную ему ТАЙНУ, или же нет. А в настоящей ли жизни, или на театральных подмостках он совершит это – разницы принципиальной не было. Потому как сама ТАЙНА в том и другом случаях – оставалась быть ТАЙНОЙ...

Тем не менее он не стал безоговорочно отказываться от экстравагантного предположения и внимательно огляделся вокруг. Не хоронится ли где в пышных зарослях верблюжьей колючки, густо покрывавшей дряхлые обрывистые склоны пойменных берегов, какой-нибудь насмешливый фокусник, устроивший ему чудное представление? Но никого и ничего особенного, что выглядело бы настораживающее, не углядел ни за кустами верблюжьей колючки, ни за растущими вразброс по обе стороны ручья мощными снопами цветущего эреантуса. Зато в значительном удалении от себя увидел за редкими чахлыми тростинками, вступающими из ручьевого воды невысоким частоколом, шлюз-перемычку. Точнее сказать – остов шлюза, выложенного из красного жженого кирпича с аккуратными серыми цементными швами. Увиденное вновь поразило Сережу, потому как по складывающемуся у него представлению тут не

должно быть никаких искусственных строений и даже – вообще, тут никогда не было людей. А странные монеты и драгоценные камни, высыпавшиеся из расколотого кувшина, появились случайно, а сам кувшин с кладом – вымыт из пойменного берега и принесен сюда полноводным селом...

Сощутив глаза, чтобы их не слепило солнцем, Сережа взгляделся в красный кирпичный остов шлюза-перемычки и нашел его выглядевшим бутафорно. Слишком правильно выглядели ровные вертикальные и серые горизонтальные линии швов между одинаково раскрашенными красными кирпичами. Которые, впрочем, как и швы, смотрелись, словно были вычерчены с линейкой. Правда, на гранях шлюза-перемычки кирпичи были чуток опушившимися и выглядели осыпающимися. Но, возможно, это было сделано с умыслом, чтобы показать их древнее происхождение. Потому как даже красный песок, сдуваемый порывистыми ветрами на дно ручья и выкрасивший его в кровавой красный цвет – казался бутафорным.

«Да, это, похоже так – театральное представление.» – Гораздо увереннее проговорил про себя Сережа. И надеясь, как говорится, схватить невидимого постановщика за руку, направился к красному кирпичному шлюзу. Приближаясь к нему, убеждался все больше, что шлюз – искусственная театральная декорация. Приблизившись, с трудом сдержался от намерения пнуть его с разбега босой ногой, дабы пренебрежительно продырявить, коли он сделан из плотной бумаги, или потрясти, ежели – из папье-маше. Но вместо этого, остановившись около шлюза с подчеркиваемым чувством собственного достоинства, легонько тронул его оттопыренным пальцем левой ноги. И в первый миг даже не поверил, что ощущает настоящий, а не бутафорный кирпич. Не веря пальцу ноги, наклонился, обстоятельно потрогал запыленный верх шлюза ладонью. И тоже почувствовал свойственную кирпичам гладкую шершавость, которая к тому же обожгла кожу, потому как кирпичи, в отличие от бумаги, сильно нагреваются на открытом солнце...

## 4

Растерявшись вконец, Сережа невольно огляделся и рассеянно остановил рассредоточившийся взгляд на широкой и, похоже, до сих пор глубокой запруде, тихо расположившейся перед кирпичным шлюзом-перемычкой. Бездумно поблуждал заслезившимися глазами по темной и гладкой, как зеркало, неподвижной воде. На поверхности которой, будто конькобежцы на льду, деловито сновали мелкие водяные жучки, выписывая причудливые узоры из разбегающихся белесых, как паутинки, тонких водяных кругов. Непроизвольно прикипел взглядом к большой пучеглазой голубой стрекозе, которая была вроде как недовольна водяными жучками и сердито шуршала на них прозрачными крыльями. Разогнав их, она принялась зависать над гладкой водой, подобно крохотному вертолету, и, опуская конец длинного голубоватого тельца в воду, с натугой стала выдавливать из себя яйца. Невольное созерцание идиллических насекомых незаметно вернуло Сереже умиленное настроение духа, и вынудило опомниться. Резко потрясая головой, дабы отряхнуться от остатков охватившего было его наваждения, он только теперь обратил внимание, что пологие берега запруды тоже аккуратно зацементированы. И теперь возникло полное основание предположить, что когда-то, очень давно, может быть даже лет триста или пятьсот назад, в этой запруде люди принимали целебные сероводородные ванны.

Однако безоговорочно согласиться с этим предположением было трудно. Сережа знал абсолютно точно: ни триста, ни тем более пятьсот лет назад – здесь отродясь не было культурной жизни. Ибо на этой территории испокон обитали полудикие кочевые племена, которые ежельи и ведали о целебных свойствах сероводородных ванн, то, доподлинно известно – технологией обжига кирпича и совершенной техникой кирпичной кладки не владели. Впрочем, Сережа знал и то, что по преданию и гипотезе местечкового ученого-археолога где-то тут рядом под многометровой толщей земли покоятся каменные останки едва ли не первой на земле древнейшей цивилизации, которая существовала около пятнадцати тысяч лет до нашей эры и достигла высочайшего расцвета. Но что-либо, подтверждающего эту гипотезу, найдено пока не было...

«Хотя, вполне может быть, что ТАЙНА, явившаяся мне тут, и которую я непременно должен постигнуть, связана именно с этой, возможно, и не совсем мифической древнейшей цивилизацией. – Задумчиво проговорил вслух Сережа. И вновь погрузившись в мыслительное забытьё, продолжил эту понравившуюся ему мысль. – Ведь даже коли меня и в самом деле разыгрывают, то значит всё, что сейчас вокруг: ручей, водоросли, монеты, шлюз и запруда – с умыслом введены в разыгрываемое действие, дабы напомнить мне о древнейшей цивилизации. Возможно, знание ТАЙНЫ, которую я должен тут постигнуть, была ведома людям, жившим тут без малого два десятка тысячелетий назад... Возможно, что они, соприкоснувшись с ТАЙНОЙ, так и не смогли её постичь. И теперь тот, кто устроил мне представление, хочет, чтобы постиг её я. Но это же ведь нереально, я хоть и родился на двадцать тысячелетий позже, ничуть не сделался умнее древнейших мудрецов. Впрочем, я – и в самом деле не мудрец, и не намереваюсь быть им во взрослой жизни, а хочу стать художником. А художнику – не надобно постигать ТАЙНЫ. Ему при соприкосновении с ТАЙНОЙ достаточно проникнуться ею, чтобы её зафиксировать, а точнее сказать – законсервировать на холсте. Чтобы когда-нибудь кто-то из чрезвычайно редко рождающихся на земле мудрецов, взглянув на холст и проникнувшись отображенной на нем ТАЙНОЙ, смог бы её постигнуть. Ну, конечно же, конечно, это ведь очевидно! – Обрадованно воскликнул Сережа. – Художники – охотники за ТАЙНАМИ. А их картины – трофеи с добытыми ТАЙНАМИ. Соприкоснувшись с ТАЙНОЙ и проникнувшись ею, художник консервирует её в Звук, Образе или Художественном Слове. А постигают ТАЙНЫ мудрецы: мыслители и философы. Постигнутая ими ТАЙНА выражается в Мысли, а

сама Мысль затем навечно консервируется в Понятийном Слове. И только выраженная в Понятии ТАЙНА перестает быть ТАЙНОЙ. А потому ТАЙНА – это то, что невозможно выразить словами. Ибо она всегда больше человеческого ума, и потому полностью в его ум не вмещается. Но душа человека больше человеческого ума. Поэтому всякая ТАЙНА, даже самая Великая ТАЙНА, ТАЙНА всех ТАЙН – в душу человеческую вместиться может. Художник – это тот, кто ищет ТАЙНЫ, дабы вобрать их в собственную душу. И творя, он отображает содержимое собственной души, дабы оно сделалось доступным душе всякого другого человека. Тиражируя своё душевное содержимое, художник тиражирует ТАЙНУ. Поэтому его мастерство складывается из трех компонентов: в первую очередь, посвященность в ТАЙНУ; совершенное владение навыками изобразительности; и, конечно же, наличие другого человека, готового в свою очередь проникнуться изображенной ТАЙНОЙ, дабы вобрать её в свою душу. Без какого-либо одного из этих компонентов произведение искусства состояться не может...»

Проговорив это, Сережа замолчал и по обыкновению прислушался к себе и окружающему миру. И вдруг явно почувствовал: будто вздох облегчения раздался вокруг него. Почудилось даже, будто таинственные атрибуты разыгранного для него театрального действия, не скрываясь, выразили удовлетворение высказанными им мыслями. Как если бы по замыслу невидимого режиссера эти Сережины слова и должны были прозвучать в финальном акте таинственной пьесы, в которой он оказался чуть ли не главным действующим лицом. От охватившего и его тоже чувства глубокого облегчения, на душе у него сделалось тихо и ладно, как бывало в далеком беззаботном детстве.

Мигом в душе снова зазвучала необычайно красивая музыка. И запруда со слегка темной прозрачной водой и аккуратно зацементированными берегами тотчас отозвалась на его внутреннюю музыку, словно давно была знакома с этой дивной, немного грустной, но пронзительно чистой и светлой мелодией. И тоже стала, как бы мурлыча, напевать её. Но не тонким, как у Сережи чистым детским голосом, а взрослым тенором, переходящим моментами в матерый гудящий бас. И конечно же – сказочно преобразилась, став прекрасной, будто выписанной мастеровитым художником. Сережа, позволяя распахивающейся душе упоенно петь от обурявшего её бурного счастья, именуемого взрослыми людьми вдохновением, углядел и отдельные мазки, которыми была выписана таинственная водная поверхность запруды. Мазки были однородными: уверенными и сдержанными. Но в то же время и залихватски дерзкими, будто закрученные усы старого остепенившегося гусара с юной, чуть ли не мальчишеской душой, упрямо не стареющей наперекор возрасту.

– Ну вот и тут мне показывают, какими должны быть мазки на картине, чтобы она получилась прекрасной, какой её сейчас вижу, ежели когда-нибудь вздумаю написать запруду! – Воскликнул Сережа и не удержался-таки от тихого счастливого смеха, которым зашлась душа от переизбытка нахлынувшего счастья. Отсмеявшись и успокоившись, он увидел и запруду успокоившейся и молчащей: не такую прекрасную, как давеча, хотя и подчеркнута таинственную. От её многозначительного молчания ощущение душевного лада и духовного единения с окружающим миром усилилось у Сережи многократно. Наступила та особенная огромная сладостная тишина, которую он любил больше всего на свете. И она, чудилось, ощущалась чуть ли не материально, что её можно было даже ласково погладить и потрепать за холку, словно доверчиво замершего рядом любимого коня. А затем, усиливая благость и доводя её едва до истомного изнеможения, послышался пронзительно тонкий, похожий на пение горних ангелов, хрустальный звон роящейся мошки, прилетевшей невесть откуда и ровным светящимся на солнце ореолом расположившейся вокруг Сережиной головы.

– Вот и все. – Уверенным счастливым голосом произнес Сережа. – Представление, как и подобает – завершается ангельским апофеозом, и пора мне искать друзей, дабы рассказать им, что тут со мною произошло в их отсутствие...

Тут же его до потаенных душевных глубин пронзительно осенило, что происходящее сейчас с ним театральное действие искусно поставила Сама ПРАМАТЕРЬ. И что это театральное представление только началось. Пока он поучаствовал лишь в прелюдии, которая специально была разыграна для него одного, чтобы подготовить к главному действию. Дабы, прежде чем стать его участником, он имел представления о ЛЮБВИ, КРАСОТЕ и ТАЙНЕ. И чтобы уже тут, на этом чудесном ручье, он всей душой проникся явленной ему ТАЙНОЙ. И благодаря ПОСВЯЩЕННОСТИ в ТАЙНУ, мог отличать ЛЮБОВЬ ДЕЙСТВИТЕЛЬНУЮ от ЛЮБВИ ИЛЛЮЗОРНОЙ. Ибо КРАСОТУ ДЕЙСТВИТЕЛЬНУЮ иначе как по качеству ЛЮБВИ отличить от КРАСОТЫ ИЛЛЮЗОРНОЙ невозможно...

## Глава третья

### Две заброшенные печи для обжига кирпича и обряд «обрезания сердца»

#### 1

Желая быстрее отыскать друзей, дабы поведать им о чудном ручье и поделиться соображениями о ТАЙНЕ, ЛЮБВИ и КРАСОТЕ, Сережа вознамерился возвратиться к сероводородной луже. Но решил не спускаться вниз по течению, каким путем пришел сюда, а пойти напрямик, через пустынное плато, вдающееся в пойму длинным острым клином. Его не смутило, что одет он был в одни коротенькие выгоревшие на солнце и давно высохшие серые трусики. И при подъеме на обрывистый пойменный берег мог ободраться об острые торчащие из обрыва, словно ребра доисторических животных, корни коряг. Да еще до крови оцарапаться о колючие кусты верблюжьих колючек и об оцетинившиеся, словно насупленные ежи, ороговевшие иглы солянок. Для него и его друзей лазить напролом через колючие пойменные заросли было делом обычным. Надо лишь найти в обрывистом пойменном берегу какую-нибудь расщелину, по которой можно было бы взобраться вверх, подтягиваясь за торчащие из обваливающейся земли извилистые сухие корни, похожие на окаменевших змей. Наметанным глазом быстро отыскал в обрыве расщелину шириною метра полтора. Но чрезвычайно густо заросшую солянками и верблюжьей колючкой. Да еще отчего-то неприятно напомнившую неопрятную женскую подмышку с торчащей из неё густой волосистой растительностью.

Поморщившись, Сережа решил не подниматься по ней. В таких густо заросших укромных тенистых уголках любят хорониться змеи, пережидая зной. Невольно ярко представились свернувшиеся подковами короткохвостые эфы с выраженными крестами на маленьких треугольных головах и вальяжные тяжеловесные свирепые гюрзы с толстыми и короткими пружинистыми телами, способными молниеносно выбросить чуть ли не на метр вперед тяжелые разинутые пасти с торчащими, как клыки у саблезубого тигра, изогнутыми ядовитыми зубами... Тем не менее Сережа обратил внимание, что расщелина имеет странную для естественной природы – правильную геометрическую форму. Заинтригованный, подошел поближе, и теперь отчетливо разглядел, что её одряхлевшие и осыпавшиеся от времени параллельные бока явно имеют искусственное происхождение. Похоже, в стародавние времена это был рукотворный спуск к запруде. А, следовательно – еще одно подтверждение тому, что в то время, когда были сооружены шлюз-перемычка и запруда, культурные люди приходили сюда принимать сероводородные ванны, спускаясь вниз с пойменного берега...

По обыкновению мигом загоревшись исследовательским азартом, Сережа забыл о неприятности, которую мгновение назад вызвала у него расщелина. И решил-таки подняться на пойменный берег по ней. Легкомысленно не боясь расцарапаться о колючие заросли до крови, или даже быть смертельно ужаленным ядовитой змеей, коли неосторожно наступит на неё босою ногой. Впрочем, может быть, он и не стал бы пробираться через густые заросли расщелины. А удовлетворил исследовательский пыл тем, что в упор осмотрел её осыпающиеся стены и поводит по ним ладонью, чтобы на ощупь уловить исходящее от них излучение древности. Но этого он сделать не смог, потому что лежащая горкой под расщелиной осыпавшаяся земля оказалась рыхлой. И когда Сережа попробовал взбираться по ней, она осыпалась, словно барханный песок. А рядом не оказалось торчащих корней, за которые можно было, схватившись, потягиваться, и хотя бы на пузе доползти до расщелины. После нескольких безрезультатных

попыток Сережа вынужденно откорректировал первоначальное намерение, и решил подняться на пойменный берег в любом возможном месте, а в расщелину спуститься сверху...

В поисках подъема на крутой пойменный берег пришлось отойти довольно далеко от шлюза-перемычки. И когда подъем был найден, Сережа, не задумываясь, тут же стал бедово карабкаться наверх. Не обращая внимание на то, что голое тело царапалось о длинные, оканчивающиеся, словно острыми стальными наконечниками, ороговевшие иголки солянок и о кусты верблюжьей колючки, колющих, как стекловата, тонкими обламывающимися и остающимися в теле крошечными иголками. Морщась и преодолевая боль уколов, взобрался на дряхлый, осыпающийся обрывистый пойменный берег. И оказавшись наверху, принялся с остервенением расчесывать надсадно ноющие уколотые места. С чувством воодушевленного удовлетворения выпрямился, поглядел по обыкновению вдаль. И тут, словно получив удар обухом по голове, потрясся так, что напрочь забыл обо всем на свете. И о расщелине, которую намеревался исследовать, спустившись в неё сверху вниз; и о ручье, оставшемся внизу; и о чудных водорослях; и о расколоте кувшине с высыпавшимися из него странными монетами; о шлюзе-перемычке; и о глубокой запруде с аккуратно зацементированными бережками...

А потрясся он так потому, что перед ним, на гладком, будто отутюженном солнечным гигантским утюгом, глиняном плато, на удалении в метрах восьмистах стояло странное, отличающее зловещей лунной краснотой огромное строение. Но разглядеть его внимательно было никак невозможно. Гладкая выжженная подчистую плотная глиняная поверхность плато походила на гигантское матовое зеркало. И мощно отражая рассеянные, но чрезвычайно жгучие и острые солнечные лучи, настырно слепила глаза, вынуждая их обильно заслезиться. К тому же на всем обозримом пространстве подчеркиваемо зловеще гарцевали, извиваясь, как змеи во время своей змеиной свадьбы, длинные полупрозрачные струи зноя. Отчего голое плато походило на призрачное морское дно, густо поросшее тянущимися вверх колеблющимися студенистыми водорослями. И сам густой серый и тоже будто выгоревший на солнце воздух походил на воду, текущую извилистыми юркими струйками снизу вверх...

Судорожно зажмурившись, Сережа растер глаза, пытаясь побыстрее осушить их от слез и унять надсадную резь ослепления. Но и не преминул отметить себе, что никакого строения на этом плато прежде не было. И что, возможно, перед ним – обыкновенный, хоть и своеобразный мираж, какие возникают на гигантских, залитых солнцем открытых пространствах, вводя перегревшихся на солнце людей в опасное смущение. Едва оправившись от ослепления, он поднес к глазам сложенную защитным козырьком правую ладонь, засветившуюся сразу же таинственной прозрачной краснотой. Внимательно оглядел плато перед собой и убедился, что он и тут находится на незнакомом месте... Потому как плато было чрезвычайно гладким, как военный плац, словно его разровняли скрепером. А затем обильно заливали водой, отчего глина слиплась и, высохнув, сделалась подобно бетону. Тогда как раньше здесь была мусорная свалка с похожими на заброшенные могилки холмиками окаменевшего мусора, на которых росли настырные, высасывающие живительную влагу своими десятиметровыми корнями из глубинных подпочвенных вод изумрудно-зеленые кусты верблюжьей колючки.

Теперь же тут не было растительности, даже чахлах, похожих на щетинки небритого неделю мужчины, выгоревших по весне эфемеров. Которые с марта по май, когда идут дожди и солнце не нагревает воздух выше тридцати градусов, густо растут везде, где есть хоть щепотка земли. Даже гребни глинобитных заборов, а тем более мазанные глиной крыши кладовых и сараев превращаются в естественные цветущие клумбы. Тут же земля вместо растительности была густо покрыта никогда прежде невиданными черепками. Будто кто-то нарочно разбил тысячи тысяч глиняных обожженных и покрытых глазурью кувшинов, тарелок, чашек и всевозможной иной глиняной утвари на мелкие кусочки. Равномерно, будто сумасшедший сеятель – зерна, разбросал по всему плато. И теперь они, как маленькие матовые зеркала, мертво и многозначительно рассеивали вокруг себя блестящие свирепого зенитного июльского солнца...

## 2

Когда же Серезины глаза достаточно пообвыкли к отражаемым глиняными черепками свирепо слепящим солнечным лучам и перестали обильно слезиться, он собрался с духом и посмотрел вдаль. Дабы убедиться, на месте ли остался красный мираж, который увидел давеча. Увидев его снова, смог на этот раз разглядеть сквозь колеблющийся, словно тяжелая морская вода, серо-синий воздух, что возвышающееся над плато огромное красное строение напоминает выраженной формой трапеции заброшенную гигантскую печь для обжига кирпича. В подтверждении этого углядел в некотором отдалении от неё и огромную кучу выбракованного кирпича: расплавленного в печи до жидкого состояния, потекшего и слипшегося намертво один с другим. Изогнутые и оплывшие грани кирпичей напоминали гладкой, как стекло, поверхностью какие-то причудливые изразцы. Отчего и сама кирпичная куча походила не на кирпичный мусор, а – на сотворенную из производственных кирпичных отходов величественную абстрактную скульптуру.

Не веря, что мираж может выглядеть настолько отчетливо, Сереза в недоумении сморщился и закрыл глаза, не зная, что теперь думать. Сама печь, коли она действительно – не мираж, выглядела знакомой, будто он видел её прежде и даже бывал в ней неоднократно. Впрочем, это ему могло почудиться, потому что такая же точно по форме печь для обжига кирпича, но гораздо меньше по размеру и с такой же кучей выбракованного кирпича, напоминающей абстрактную скульптуру – существует в действительности. Она и поныне возвышается над пустынным плато, которое подступает к поселку с северной стороны. Её полтора века назад соорудили колонисты, когда строили тут чуть ли не первую в русской империи гидроэлектростанцию для обеспечения электричеством царской резиденции. Чтобы стены плотины, электростанции, шлюзов и всевозможных сооружений для поддержания жизни обслуживающего персонала: мельницы, бани, жилых домов с узорными заборами, туалетами и даже аккуратно выложенными руслами поливных арыков были прочными и могли простоять века, как египетские пирамиды – и был нужен добротный обожженный кирпич. В те давние времена печь, заполненная под самый верх сырым глиняным кирпичом, дважды в неделю возгоралась бурным пламенем, достигающим небес. И делалась похожей на огнедышащий вулкан: это в ней с мерным ревом горели, словно порох, спрессованные тюки сухой верблюжьей колючки. Которая по обыкновению, загоревшись, сначала исторгала густой, похожий на паровозный пар, приятно пахнущий дым, возносящийся к небу, а затем ослепительно вспыхивала чистым, как стекло, желтым пламенем, жара которого и на расстоянии ста метров терпеть было невозможно...

После грандиозного строительства деятельная жизнь поселка сконцентрировалась на обслуживании плотины и гидроэлектростанции. А печь для обжига кирпича от долгого неупотребления стала приходить в запустение, ветшать и обваливаться. И превратилась в притягательное место для поселковой детворы. Тут, на отшибе поселка, у полуразрушенной печи для обжига кирпича, на огромном пустыре, местами поросшем густым и обычно высыхающим к лету полутораметровым бурьяном и скученными шарами перекати-поле, а местами голым, как бритая голова ортодоксального туркмена – и протекала сладкая таинственная многозначительная жизнь поселковой ребятни. Здесь в летние каникулы ребята упоенно играли в прятки и всякие иные детские азартные игры до глубоких сумерек, которые всякий раз неожиданно скоротечно обрывались кромешной темнотой. На небе, как на прожженной углями простыне, выступали огромные сияющие, словно алмазы, яркие звезды. А погружившийся в густой мрак пустырь чуть ли не со всех сторон угрожающе оглашался истомно-пронзительным воем шакалов. Возле каждого кустика, в каждом заметном проеме сухих чутков еще светлых зарослей мерещились парные настороженные глаза пустынных ночных зверей, зловеще мерцающие красным фосфорическим светом. Ребята возвращались в поселок, затаив дыхание от скovy-

вающего их чуть ли не первобытного страха. Шли домой, не разбирая дороги, скорее наугад, чем с осознанной целенаправленностью, чуя обострившимся обонянием едкий запах тлеющих кизяков. Которые их родители подожгли в оцинкованных тазиках и поставили дымиться во дворах, дабы отгонять белым дымом назойливых и невыносимо больно жалящих moskitov.

Запах кизячного дыма был для поселковых детей слаще всех иных существующих в мире запахов. Да и тот первобытный страх, который порою до судорог сковывал их, когда они ночами возвращались в поселок – тоже казался сладким страхом. Вспоминая о нем на следующее утро, они взхлеб смеялись над собой и друг над другом. И, вообще, все их невероятно острые чистые детские переживания, так или иначе связанные с той заброшенной полуразвалившейся печью для обжига кирпича – были несказанно сладки. Потому как ТОГО, что им доводилось переживать на пустыре, не было и в помине в повседневной поселковой жизни, руководимой и контролируемой взрослыми, давно и необратимо окостенело воспринимавшими жизнь.

А тут, у заброшенной печи для обжига кирпича, жизнь протекала у них по детскому, развиваясь в полном согласии с их миропониманием и мировосприятием. Взрослых здесь не было, и взрослым здесь делать было нечего. Ранней весной, где-то в конце февраля – в начале марта, когда солнце становилось ласково жгучим, ребята приходили сюда после уроков полакомиться высунувшимися из влажной земли длинными зелеными усиками невероятно вкусного по весне дикого лука. (Благо, школа находилась на отшибе: между поселком и раскинувшимся до горизонта пустынным глиняным плато) Или – пособирать первые весенние шампиньоны, целенаправленно бродя по неоглядному пустырю, внимательно всматриваясь под кусты тамариска, эриантуса, черкеза или солянок, растущих вразброс на голой глиняной поверхности. А увидев вылупившиеся из рыхлой земли белые нежно замшевые на ощупь шляпки шампиньонов, непременно залиvisto огласить восторженным голосом округу: «Гриб нашелся! Гриб нашелся! Гриб нашелся!» А иногда и бесцельно прийти сюда, чтобы всласть полюбоваться изумительно голубым небом, не выгоревшим еще до цвета грязной белой простыни, и потому одинаково чистым как в зените, так и по горизонту. И конечно же – сладко помечтать, лежа на теплой земле. Разглядывая пышные, как взбитые хлопковые скирды, огромные кучевые облака. Медленно меняющие на глазах причудливые формы и превращаясь то в гигантского белого медведя со вскинутой вверх для дружеского приветствия мохнатую лапищу. То в голову степного богатыря, защищенную остроконечным шлемом. То в скоростную автомашину самой последней марки, которую вчера вечером показывали по телевизору. И, наконец, а это было как само собой разумеющееся – обнажиться до трусов, открывая первыми в поселке сезон загорания на солнце. И уже в первый день по обыкновению лихо обгореть до волдырей. А вернувшись домой затемно, наскоро поужинать, а заодно пообедать и, пожаловавшись родителям на невыносимое жжение, показать красные, как начищенный медный таз, плечи и спину. Чтобы мать, отец или старшая сестра смазали их столовым уксусом или кислой простоквашей.

Да и летом, во время длинных и самых любимых ребятами каникул, они нередко приходили сюда, на пустырь, к заброшенной печи для обжига кирпича в свирепое полуденное пекло. В это время в поселке вымирала жизнь. Взрослые предавались полуденному сну, а пустые улицы надсадно гудели, вибрируя в унисон со струящимся ввысь от иссушенной земли густым призрачным зноем. Это было самое таинственное время суток. Когда, казалось, солнце, безжалостно испепелив любое проявление жизни, само тоже, словно красная жалящая оса, сжималось и забивалось, прячась от собственной свирепости, в самую высокую точку в зените. Тогда даже доброжелательный красный цвет печи для обжига кирпича зловец мерцал на фоне выгоревшего неба, похожего на застиранную до дыр вылинявшую скатерть, которую приезжий кинемеханик Сапар вывешивал на стену поселковой управы, чтобы показывать бесплатное кино. К полудню печь, а точнее сказать, её стены нагревались на открытом солнце так, что о них можно было обжечься, ежели нечаянно коснуться локтем или ладонью. Приходя в полдень к ней, ребята вытаскивали из находящейся рядом старой шакальской норы, оборудованной

под тайник, свитый из украденных бельевых веревок канат. Спускали его до первого яруса продольных перемычек, на которые, когда печь функционировала по прямому назначению, укладывался для обжига в ровные ряды сырцовый кирпич. И ловко скользя по болтающемуся канату, словно маленькие юркие обезьянки, спускались вниз.

Именно там, на большой глубине, куда никогда не попадали прямые солнечные лучи, и откуда всегда исходила сырая затхлая прохлада – и была для поселковых ребят самая таинственная, многозначительная, а потому особенно сладкая человеческая жизнь. Там всё было не так, к чему они привыкли в обычной поселковой повседневности, и что было изучено ими вдоль и поперек, а потому – словно заученное наизусть стихотворение, давно навевающее глухую скуку. Там, в глубокой яме, и исследовать было нечего: в любое время года она выглядела одинаково, разве что только бывала светлее или темнее в зависимости от времени суток. Её ребристый пол покрывал толстый слой серой слежавшейся пыли, похожей на грязную вату. Её оплавленные до стеклянных кроваво-красных потеков толстые кирпичные стены были вечно влажными гладкими и жесткими, как стекло. Нацарапать на них свои имена можно было только алмазным стеклорезом, стащенным из родительского ящика с инструментами. Тем не менее привыкнуть к её полу и стенам было невозможно, потому как при каждом спуске в неё таинственно чудилось, будто эта яма – незначительная часть какой-то особенной совершенно неведомой людям жизни. А основная, самая интересная жизнь – пребывает за стенами и под полом печи, куда проникнуть никаким образом невозможно. Но ТО, что нельзя было зреть внешним, обычным, зрением, подросткам великолепно виделось зрением внутренним. Яма в заброшенной печи для обжига кирпича была несказанно мила им, потому как всегда, когда они спускались в неё, чуть ли не принуждала предаваться упоительным фантазиям. А для ребят, перерастающих из детства в отрочество, нет ничего слаще, чем отдаться всею расправившейся душой завораживающему полету фантастических грез, похожих на сказочные сновидения наяву! Пусть даже при этом они сидели вокруг маленького, тихо потрескивающего костерка, в котором пекли стащенную из домашнего погреба картошку, ведя обычные разговоры. Но всё их взрослеющее естество отчетливо переживало острейшее наслаждение от непосредственной причастности к таинственному бытию, которое доселе было ведомо только по долгим счастливым и обстоятельным детским снам...

## 3

И вот теперь перед глазами Сережи, слезящимися от въедливых жгучих лучей, стояла такая же заброшенная печь для обжига кирпича. Но была она раза в три с половиной выше, и пустырь вокруг был покрыт не выгоревшей пустынной растительностью, а усыпан блестящими, как осколки стекла, рукотворными черепками. Невольно тужась умом, Сережа пытался объяснить себе, как же на месте, где, прежде не было ничего, кроме окаменевших мусорных куч, поросших верблюжьей колючкой, возникла еще одна красная печь для обжига кирпича? И тут только вспомнил о ручье, оставшемся в пойменной расщелине, о водорослях в нем, ведущих себя, будто животное существо, о высыпавшихся на дно ручья из расколотого кувшина монетах и драгоценных камнях. А затем, наконец, и о ПРАМАТЕРИ, устроившей ему театральное представление на ручье. Обрадовавшись воспоминанию, словно нежданно встретившемуся хорошему знакомому, воодушевленно предположил, что, начатое у ручья, чудное театральное представление продолжается... И теперь ПРАМАТЕРЬ сотворила тут, на огромном пустынном плато, огромную кирпичную печь для обжига кирпича, чтобы он в ней, *взрослой* уже Печи, смог постичь ТО, что постигал в прежней, *детской*, Печи. А именно – ТУ сокрытую таинственную жизнь, которая ТАЙНО осуществлялась за стенами и полом Печи, и которая поныне исподволь томила и сладко мучила его исследовательский дух.

Стремительно восхищаясь от сладких предощущений, Сережа превозмог резь в слезящихся от жгучего света глазах и вынудил себя внимательно взглянуться в возвышающееся над плато огромное сооружение. И вновь неземная тяжелая и где-то даже зловеще светящаяся кирпичная краснота, размываемая призрачными струйками зноя, похожими на колеблющуюся на ветру прозрачную камышовую стену – потрясла его. Ибо выглядела печь теперь даже больше, чем минуту назад. Сережа почувствовал себя перед ней пустынным сусликом, стоящим на задних лапках перед сфинксом. Тут же, словно нарочито пугая его, между ним и мерцающим зловещей краснотой огромным сооружением прокатились с гроыхающим шумом – два огромных, в десять, а то и в пятнадцать человеческих ростов, тугих шара перекаати-поля, похожих на гигантские мотки колючей проволоки.

Судорожно зажмурившись и тряхнув головой, Сережа пронзительно почувствовал, что его доверчиво распахнувшаяся душа для радушного общения с Печью – вдруг больно обожглась, будто соприкоснулась с ядовитым излучением неведомого мертвецки холодного равнодушия. И исходила эта напористая холодность от стоящей зловещим красным колосом *взрослой* Печи для обжига кирпича. Почудилось, будто в этом гигантском краснокаменном монстре таятся какие-то коварные опасности, которое могут уничтожить его, раздавив, будто козявку, и даже этого не заметить. Из глубины души в сознание Сережи дыхнуло леденящим страхом. Цепеня, он отчаянно подумал, что надо немедленно бежать отсюда. А коли раздраженный исследовательский азарт и принудит вернуться, то можно прийти с дедом, или с кем-нибудь из взрослых. Однако обмякшие отяжелевшие ноги отказались повиноваться, будто он оказался в вязком кошмарном сне, когда пронзительно чуешь смертную опасность и знаешь, что надобно бежать отсюда прочь, а ноги не слушаются...

Не позволяя однако себе запаниковать, Сережа надсадно растер выкатившиеся на ресницы слезы и, преодолев страх, дерзко взглянул вперед, дабы прямо сейчас увидеть на ТО, что испугало его. И тут увидел, вообще, немыслимую картину, похожую на сновидение, мираж, галлюцинацию, но никак не на явь. К огромному красному сооружению по зловеще поблескивающему плато в направлении от места, где они с друзьями час назад лежали в сероводородной луже, двигался вытянувшейся вереницей караван. Но состоял он не из верблюдов, лошадей, ослов, или иных выюченных животных, которые возможно и ходили здесь сотни лет тому назад. А – из каких-то невиданных насекомых, со слегка наклоненными вперед туловищами,

как у кузнечиков, и с длинными, как у пауков-почталыонов, тонкими подламывающимися при ходьбе лапками...

Не в силах оторвать от ужасающего зрелища окаменевшего взгляда, Сережа определил-таки, что тела у идущих к огромной Печи для обжига кирпича гигантских насекомых наклонены вперед потому, что идут они против сильного ветра. Возможно даже против – буйной пыльной бури, норовящей сбить с ног всякого осмелевшего идти против неё. Хотя самого ветра и даже какого-либо дуновения заметно не было: длинные, будто прозрачные морские водоросли, струи зноя, заслоняющие караван, тянулись, как при безветрии, вертикально вверх. Правда, едва они углядели, что Сережино внимание обратилось на них, тотчас, как непосредственные дети, оказавшиеся перед телекамерой, принялись манерничать, гримасничать, извиваться, демонстрируя при этом свое врожденное искусство исполнения замысловатого танца живота.

Их дурачество подействовало на Сережу успокаивающе. Он собрался было даже в ответ улыбнуться. Но тут будто кто-то со стороны грозно прикрикнул на струйки зноя, и они пристыженно перестали кривляться и дурашливо вихлять бедрами. Сережа быстро посмотрел в сторону предполагаемого окрика и снова остолбенел. Ибо увидел идущую впереди каравана Никитину троюродную сестру Леру, которая под стать *взрослой* Печи для обжига кирпича была и вовсе гигантского роста. Шла она, наклоняясь вперед, будто закрываясь от порывистого ветра и пыли правой рукой, а левой – держала за руку, ведя за собой, какое-то немыслимое существо, похожее на огромное белое яйцо или гигантский кокон тутового шелкопряда. Следом, держась за руки и, выстроившись друг дружке в затылок, шли еще два таких огромных белых кокона. Овальные одинаковые тела их были наклонены вперед под углом приблизительно в пятьдесят градусов. А на огромных покатых плечах торчали маленькие зеленые головки с огромными, как у стрекозы, глазами и подвижными, как у богомола, челюстями.

Последний идущий кокон был несколько крупнее и держал он в тонкой, где-то даже истонченной, человеческой руке кованную серебряную цепочку, за которую, как на поводке, тянул упирающихся одетых в выгоревшие короткие трусики стриженных наголо трех мальчишек лет тринадцати... И совершенно не веря своим глазам, Сережа узнал в этих мальчишках Вадика, Никитку и что вообще было немыслимо – самого себя, пытающегося высвободить шею из широкого застегнутого кожаного ошейника, к которому была прикована серебряная цепочка. Чувствуя, как все его внутренности, обрываясь, куда-то катастрофически проваливаются, Сережа углядел впадающим в прострацию взглядом, что ноги у Леры, трех коконов и трех мальчишек – несоразмерно длинные, тонкие, со множеством коленных чашечек, вывернутых задом наперед. Отчего все они шли, широко растопырив подламывающиеся ноги, будто только что родившиеся телки... А когда уразумел, что эта фантастическая процессия недвусмысленно напоминает известную картину полубезумного художника Сальвадора Дали «Искушение святого Антония», предположил, что снова зрит театральное представление, которое разыгрывается для того, чтобы он понял для себя что-то чрезвычайно жизненно важное. От этого предположения внутреннее напряжение в нем ослабло: резко обмякнув телом, он медленно опал на землю...

## 4

Сережа сидел на горячей земле с закрытыми глазами, пытаясь перетерпеть боль от острого черепка, впившегося в левую ягодицу и невтерпеж жгущую её, словно раскалившийся на огне медный пятак. Ежели ни это назойливое жжение, он чувствовал бы себя комфортно. Будто в натопленной сауне, разнежено обмякнув жиденьким тельцем, доверившемуся жгучему жару сухого пара. Хотелось обмякнуть еще больше, дабы, вообще, оплыть, как поднявшееся на опаре рыхлое тесто, и растечься под собственной тяжестью по ровной земле. Или, еще лучше – превратиться в прозрачный растекающийся кисель, чтобы быть полностью впитанным жадной до влаги иссушенной солнцем землею. Но назойливое жжение, исходящее от черепка, от которого, наверное, вздулся на ягодице волдырь, вынудило его заворочаться. Чтобы пересесть с черепка на голую, также нещадно жгущую, но хоть неколющую землю. Меняя положение тела, он невольно открыл глаза, и вновь уперся взглядом в высящуюся на пустыре гигантским исполином красную печь для обжига кирпича. Перед входом в неё снова увидел себя самого с туго затянутым на тонкой мальчишеской шее толстым ошейником с натянутой как струна серебряной цепочкой. Никитка с Вадимом и три фантастических кокона, ведомые гигантской Лерой, похоже, вошли в красное здание...

Стремительно взглядевшись в плененного себя, Сережа несмотря на огромное расстояние увидел довольно отчетливо наполненные отчаянием собственные глаза. Прочитав в них кричащую мольбу о помощи, мигом воспылал жгучим желанием помочь попавшим в беду себе и закадычным друзьям детства. Тут же в стоящих перед ним, словно в близком зеркале, глазах плененного себя увидел причину, из-за которой случилась беда с ним и с его друзьями. Видение было коротким и стремительным, как в быстро крутящемся калейдоскопе. Будто бы он, Никита и Вадим, належавшись в сероводородной луже и, разнежившись в ней, пошли в гребенчуковые кусты справить малую нужду. И хмельные от разобравшей их неги предались соревнованию по рукоблудию: у кого дальше всех выбрызнется семя. Но едва приступили к непреодолимому искушению, закатив зрачки под верхние веки, будто курильщики опиума, перед ними возникла двухметровая троюродная Никитина сестра Лера. Которая стояла на узкой озерной тропе и была одета в древнегреческую белую тунику. Одной рукой она растирала пальчиками с кричаще-красными длинными ногтями возбужденный сосок на левой обнаженной груди. Другой недвусмысленно похлопывала сложенной лодочкой ладонью по выпирающему под туникой лобку. Потряхивая распущенными пшеничными волосами, она дергала головой вбок, настойчиво приглашая их последовать за собой. Дабы немедленно заняться не подростковым рукотворным, а настоящим, взрослым, сексом. Все они трое, будто замороженные, поднялись с земли. И как сомнамбулы со спущенными трусами, болтающимися под ногами, словно кандалы, и нацеленными вперед, как пистолеты, чуть ли не звенящими от напряжения подростковыми фаллосами, пошли к Лере. Она со смачной похотливостью улыбнулась им во все своё красивое древнегреческое лицо и, повернувшись, медленно направилась по узкой приозерной тропе из поймы вверх на плато. А они, спотыкаясь и путаясь в трусах бездумно пошли следом за нею, словно только что вылупившиеся утята за несказанно уверенной в себе уткой... Но тут стоящие перед Сережей его собственные глаза, глядя в которые, он, словно в бинокль, разглядывал прошлое, вдруг исчезли. И что дальше произошло с ним и с его друзьями, узнать ему не удалось. Но в глубине открывшейся снова перспективе плато в самый последний момент увидел, что он тоже скрылся в красном зловещем здании. Его отчаянное сопротивление грубо и бесцеремонно было преодолено резким рывком за серебряную цепочку...

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.